

КОД ДАНТЕ · КНИГА II

ПАРАДИЗО. РАСШИФРОВКА

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ

18+

Александр Жарков

Парадизо. Расшифровка

«Автор»
2026

Жарков А. В.

Парадизо. Расшифровка / А. В. Жарков — «Автор», 2026

После смерти Гнесина Артём должен дать показания в защиту Лидии Бруновны — против самого себя. Впервые за два года ему предстоит поступить без цитаты, без гарантии прощения и без уверенности, что правильный поступок хоть что-то исправит.Теперь нужно издать чужой слабый комментарий, не присвоив его; принять счастье бывшей жены; сидеть рядом с умирающей женщиной, которая никогда не читала Данте. И решить, что делать с дневниковой строкой: «Мой Вергилий».Во второй книге диптиха свет оказывается требовательнее тьмы. Это роман об ответственности, прощении и людях, которых нельзя свести к ролям в чужой системе.

© Жарков А. В., 2026
© Автор, 2026

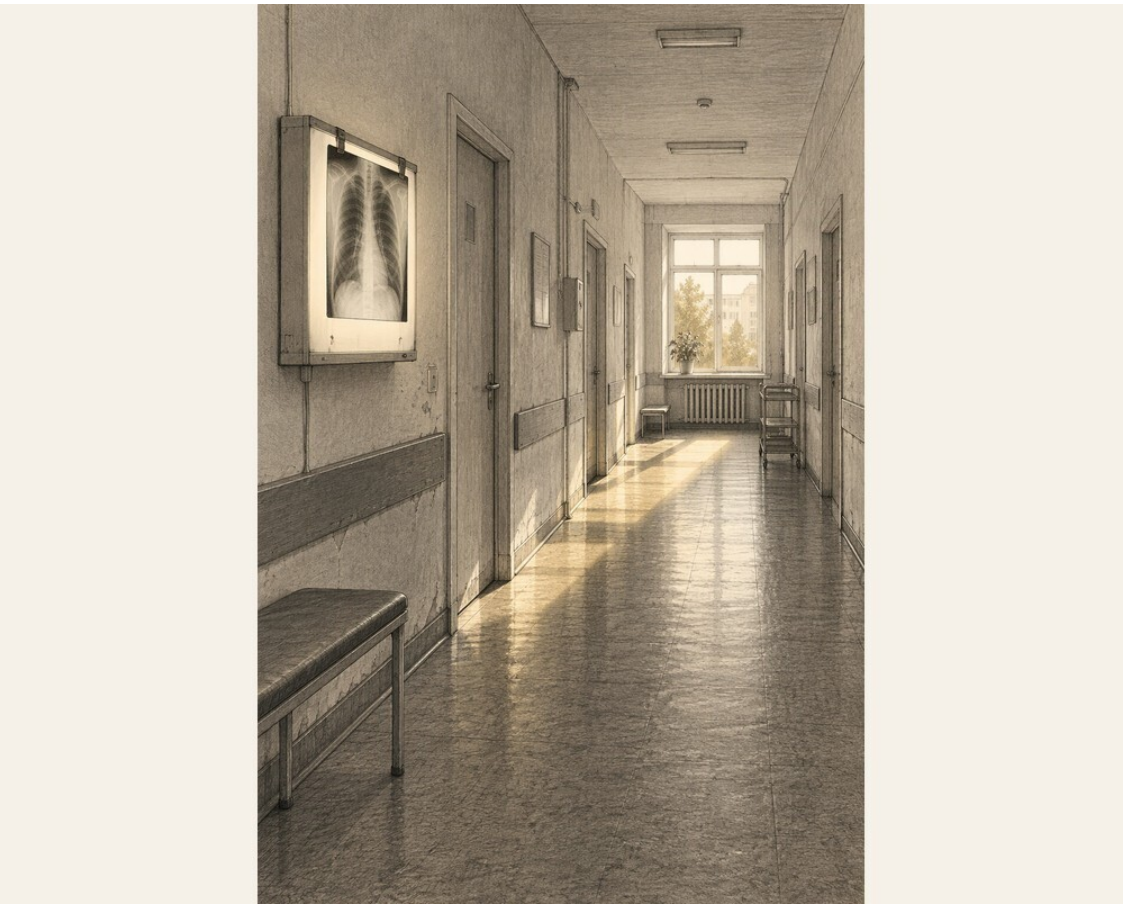
Содержание

Луна 5
Глава 1. Белый коридор 5
Глава 2. Нарушенный обет 13
Глава 3. Без заступничества 19
Меркурий 25
Глава 4. Юрист-волонтёр 25
Глава 5. Тридцать секунд славы 33
Глава 6. Показания 40
Венера 46
Глава 7. Пустое место 46
Глава 8. Одно сообщение в месяц 53
Конец ознакомительного фрагмента. 58

Александр Жарков
Парадизо. Расшифровка

Луна

Глава 1. Белый коридор



Днём первого октября, за несколько часов до того, как я прочитаю в комнате Данилы строку «Ему будет трудно без меня», мы стоим у ворот кладбища. Данила останавливается, чтобы пересчитать деньги в конверте. Он отворачивается от ветра, прячет бумаги под полу куртки и спрашивает у женщины из ритуальной службы, куда ещё нужно подъехать. Я стою рядом и смотрю, как грязь стекает с каблуков его ботинок.

Мне нужно сказать, что машину я найду сам. Вместо этого я спрашиваю:

— Который час?

— Десять минут второго.

Он не поднимает головы. Женщина складывает квитанции пополам. За оградой двое рабочих устанавливают в кузов венки, которые уже никому не нужно везти обратно.

На асфальте лежит узкая полоса солнца. Она доходит до моего носка и обрывается. Я делаю шаг, чтобы не стоять в ней, и дальше слышу собственное дыхание почему-то со стороны. Потом Данила очень чётко произносит моё имя.

Я открываю глаза на земле. Щека прижата к чему-то шероховатому. Рядом лежит мой телефон, экраном вниз. Данила держит меня за плечо, но не тянет вверх.

— Не вставай.

— Я ничего не ронял?

— Телефон.

— Это я вижу.

— Артём, лежи.

Женщина из ритуальной службы приседает с другой стороны. У неё в руке остаются квитанции. Она спрашивает, сколько меня не было. Данила отвечает: несколько секунд. Я хочу уточнить, что никуда не отсутствовал, но язык плохо слушается.

Меня переворачивают на спину. Над головой оказывается серое небо и ветка с одним жёлтым листом. Удар затылком я почувствовал только теперь.

— Скорую, — говорит Данила.

— Не надо. Мы можем поехать сами.

— Можем лежа?

Он достаёт телефон. Я пытаюсь сесть, и он прижимает мою ладонь к земле.

— Со мной всё в порядке, — говорю я.

— Тогда скажи дату.

Я называю первое октября. Год приходится вспомнить. Это занимает слишком много времени, и Данила перестаёт спорить. В трубке он называет адрес, возраст, говорит про падение и удар головой. Его голос становится тише, чем на похоронах.

Пока мы ждём, он снимает с меня пальто с одного плеча и подкладывает под голову. Ткань сразу промокает. Я говорю, что потом не отстирается.

— Пусть не отстирывается.

— Там бумаги Гнесина.

— Я их достал.

Он показывает папку. Она цела, хотя угол размок. Я хочу взять её, но он кладёт её к себе за спину.

— Не для чтения сейчас.

— Я не собирался.

Данила смотрит на меня, повернув голову так, чтобы слышать левым ухом. Он не напоминает, что дядя звал меня до обеда. Это делает ожидание длиннее.

Бригада приезжает минут через десять. Фельдшер ещё раз спрашивает у меня дату и дату рождения, измеряет давление, проверяет сахар крови и зрачки. Данилу он расспрашивает отдельно: как я падал, поднялся ли сам, было ли у меня перед этим судорожное подёргивание или рвота. Того, что происходило со мной, я не помню и не пытаюсь дополнить рассказ за него.

— В приёмный покой поедем, — говорит фельдшер. — Сознание было утрачено, есть удар головой. Нужны осмотр и обследование.

Мне разрешают сесть, потом помогают перейти в машину. Данила забирает папку и мой телефон. Он едет следом на своей машине, предварительно продиктовав фельдшеру номер своего телефона и дважды повторив, что никуда не исчезнет.

В больнице он появляется, когда меня уже везут по коридору на кресле. Я спрашиваю, почему он не остался разбираться с кладбищем.

— Там кончилось.

— А люди?

— Мама дома. Она знает, что делать.

Я почти улыбаюсь, но боль в затылке мешает.

— Могли и на твоей машине доехать, — говорю я.

— Могли. А теперь уже доехали. Не начинай заново.

Внутри свет ровный и белый. Он ложится на полосы синего кафеля, на металлические спинки кресел, на мокрые следы возле двери. От яркости у меня снова сужается поле зрения. Данила берёт меня под локоть.

— Не тащи.

— Тогда иди.

Я иду.

. . .

В смотровой пахнет хлоркой и мокрой шерстью. Врач просит меня рассказать не всё подряд, а только то, что было перед падением. Он молодой, с карандашом за ухом, хотя записывает в компьютер.

— Я стоял.

— Долго?

— Не знаю. Минут пять.

— До этого ели?

Данила отвечает вместо меня:

— С утра чай.

Я оборачиваюсь.

— Ты откуда знаешь?

— Я с утра был рядом.

Врач смотрит на меня и ждёт. Я подтверждаю. Вчерашний ужин вспоминается с трудом: кажется, я открыл банку горошка и закрыл её обратно. Говорить об этом не хочется.

— Вчера? — спрашивает врач.

— Тоже немного.

— Сон?

— Часа три.

— Несколько ночей так?

Данила кладёт папку на свободный стул. По её мокрому углу я понимаю, что ответ уже написан за меня.

Врач измеряет давление, проверяет зрачки, просит следить за пальцем. Его рука движется медленно, без резких рывков. Он спрашивает, не двоится ли в глазах, не тошнит ли, помню ли я само падение. Я отвечаю. Про несколько секунд без сознания рассказывает Данила. Про год, который я замедлил, тоже.

— Дата рождения?

На этот раз я отвечаю сразу.

Он ощупывает затылок. Боль становится точной, местной. Почти облегчение.

— Нужна компьютерная томография головы, — говорит он. — Вы падали, был удар и кратковременная потеря сознания. Пока ничего страшного по осмотру не утверждаю, но и отпускать одного не будем.

— У меня документы.

— Они подождут на стуле.

— Там работа.

Данила берёт папку обеими руками.

— Я понесу.

Врач печатает направление. Пока принтер шумит, он объясняет, где получить браслет, куда идти и что при усилении головной боли или рвоте нужно сразу сообщить персоналу. Слова простые, но я начинаю выстраивать их в порядок этапов: регистратура, кабинет, коридор, сни-

мок, снова кабинет. Последовательность успокаивает меня сильнее, чем заверение, что всё будет хорошо. Его никто и не даёт.

На запястье защёлкивают белый браслет. Пластик прижимает волосы на руке. Фамилия напечатана крупно, имя и отчество мельче. Несколько минут я рассматриваю буквы и думаю, что теперь меня можно вернуть владельцу при утере.

Данила приносит воду в бумажном стакане.

— Пей.

Я делаю два глотка и ставлю стакан на колено.

— Ещё.

— Зачем?

— Потому что ты не ел.

— Это не взаимозаменяемо.

Он выдыхает и достаёт телефон.

— Сейчас будет специалист.

Он звонит Павлу. Сначала я слышу только половину разговора: «упал», «головой», «не рвало», «направление дали». Потом Данила включает громкую связь.

— Павел, скажи ему. Он спорит.

Голос Павла звучит глухо, на фоне кто-то перекатывает тележку.

— Артём, ты где стоишь?

— У процедурного кабинета.

— Вот и стой там, пока тебя не позовут. Воду пей маленькими глотками. Если станет хуже — скажи медсестре, не Даниле. Данила не назначит тебе лечение.

— Я знаю.

— Тогда делай.

Я спрашиваю, как ему вообще пришло в голову подключаться к моему обследованию.

— Я не подключаюсь. Я с Данилой разговариваю.

В трубке на секунду становится тихо.

— И не строй маршрут. В больнице таблички читай.

Данила прячет улыбку. Я отдаю ему телефон.

Медсестра приносит мне тонкое одеяло. Я отказываюсь, потому что в коридоре тепло, но она кладёт его на соседнее кресло.

— Если понадобится. Не уходите никуда без сопровождающего.

Данила накрывает мне ноги. Под одеялом оказываются следы кладбищенской земли на брюках. Я начинаю стряхивать их, и он придерживает мою руку.

— Надо же было домой переодеться, — говорю я.

— Потом.

Он звонит матери. В разговоре не упоминает мою исповедь, только обморок и обследование. Оксана Марковна что-то долго спрашивает. Данила дважды отвечает: «Не надо приезжать». Потом слушает и соглашается, что поесть нужно обоим.

— Она тебе суп оставит, — говорит он мне после звонка.

— Я не гость.

— Для супа можно и без статуса.

Он достаёт из кармана квитанцию и пытается разгладить её на колене. Бумага порвалась по сгибу. Я предлагаю подержать половинки, но он складывает их вместе и убирает.

— Это за венки?

— Не важно.

— Я должен часть оплатить.

Данила смотрит на меня с раздражением.

— Сейчас не должен ничего. Сиди.

Я сажусь обратно, хотя и не заметил, что встал. Пол под ногами перестаёт двигаться. Данила остаётся рядом, с телефоном в одной руке и порванной квитанцией в другой.

Когда Павел отключается, я говорю, что его профессиональная помощь здесь не требовалась.

— Зато ты воду допил, — отвечает Данила.

Стакан действительно пуст. Я не помню, когда выпил остальное.

. . .

Кабинет компьютерной томографии находится в другом крыле. Мы идём по коридору, где окна чередуются с дверями. На одних дверях номера, на других только таблички с фамилиями. Я пытаюсь запомнить последовательность, но после поворота она распадается. В голове остаётся белая лента пола и отражения наших ног.

Данила останавливается.

— Ты куда?

— По направлению.

— Направление налево.

Он переворачивает листок в моей руке. Я держал его вверх ногами.

У негатоскопа в соседнем кабинете закреплён чужой снимок. Белые кости таза проступают на тёмном поле. Стекло не включено, изображение видно только потому, что на него падает свет из окна. Я замедляюсь. За стеклом двери движется знакомая фигура.

Алиса несёт две папки. На ней голубая сменная одежда, волосы собраны выше, чем она носила дома. Она останавливается у стола, открывает верхнюю папку и только потом видит меня через стекло.

Первым моим желанием становится спрятать браслет. Я опускаю рукав, хотя она уже посмотрела на запястье.

Она выходит не сразу. Сначала возвращается к столу и что-то говорит коллеге. Потом открывает дверь.

— Артём?

— Здравствуй.

Она смотрит на направление, которое я всё ещё держу.

— Ты на КТ?

— Да.

— Падение?

Данила кивает. Она переводит взгляд на него, потом снова на меня.

— Сознание терял?

— На несколько секунд.

— Садись. Вот здесь.

Она указывает на кресло у стены. Не на ближайшее, а на то, возле которого стоит медсестра с тележкой. Я сажусь.

— Я в смене, — говорит она. — Увидела фамилию на направлении. Тебя осматривает врач приёмного покоя, а я работаю на исследованиях. Могу уточнить обстоятельства падения и передать их дальше. Ты не против?

— Нет.

Алиса берёт направление после того, как я сам протягиваю его. Читает. Её лицо остаётся рабочим.

— Ударился затылком?

— Да.

— Тошнота есть? Рвота?

— Нет.

— Двоение?

— Нет.

— Что ел сегодня?

Я жду следующего вопроса — про похороны, про Гнесина, про то, почему я оказался именно здесь. Вместо него она повторяет:

— Артём, что ты ел?

— Чай.

Она смотрит на часы.

— В три часа дня?

— Да.

— Кто заберёт тебя домой?

Данила делает небольшой шаг вперёд.

— Я.

Она кивает ему. Никакого облегчения при знакомстве не возникает. Просто один пункт получает ответ.

— После снимка вернётесь к врачу приёмного покоя, — говорит она. — Дождитесь описания и повторного осмотра.

— Ты будешь описывать?

— Если исследование поступит мне. Заключение в любом случае передадут твоему врачу, решение о выписке принимает он.

Её тон ровный. В нём нет ни торопливой нежности, ни холодного расчёта. Это раздражает меня так сильно, что я чувствую жар в лице.

— Ты можешь не заботиться, — говорю я.

Она на секунду перестаёт держать направление на весу.

— Я уточняю обстоятельства травмы.

— Понятно.

— Артём, я сейчас не буду обсуждать с тобой нас. У меня ждёт следующий пациент.

Она произносит это спокойно. Данила рассматривает табличку на противоположной двери.

Я спрашиваю, как она.

Алиса поправляет папки под мышкой.

— Хорошо. Работаю. После смены еду домой.

В её «хорошо» нет паузы для меня. На правой руке нет кольца, зато на ремешке часов свежая царапина. Из кармана торчат сетка для волос и парковочный талон с сегодняшним числом. Из кабинета её окликают по имени, она оборачивается и отвечает, что идёт.

Мне вспоминается сфера нарушенных обетов. Я почти произношу слово «Луна», но Алиса уже прячет талон в карман и поправляет сбившуюся папку. Слово остаётся у меня.

Из кабинета вызывают меня. Алиса возвращает направление.

— Иди. Потом врач скажет, что дальше.

— Алиса.

Она уже поворачивается к следующей двери.

— Да?

У меня готов длинный вопрос: знала ли она про смерть Гнесина, помнит ли его, понимает ли, почему я не приехал. Она ждёт две секунды.

— Спасибо, — говорю я.

— Пей воду. И поешь, когда разрешат.

Она уходит до того, как я успеваю продолжить.

В процедурной меня просят лечь и не двигаться. Аппарат гудит. Пластиковый край столика холодит ладонь. Я смотрю в потолок, где узкая лампа закрыта матовым плафоном. Свет не проникает никуда. Он просто помогает технику видеть отметки на моей голове.

После исследования я снова сижу рядом с Данилой. Он протягивает мне печенье из автомата.

— Где взял?

— Купил.

— Когда?

— Пока ты лежал.

Я разрываю упаковку. Печенье сухое, крошки падают на брюки. Доев первое, я понимаю, что очень голоден. Второе ем медленнее.

Алиса выходит из кабинета с распечатанным листом. На этот раз она подходит к нам обоим и сразу показывает мне шапку описания, где мои фамилия и дата исследования.

— Я описывала ваш снимок. По полученным данным неотложной внутричерепной находки не видно. Это хорошая новость, но она не отменяет осмотр после травмы и наблюдение дома. Лечащий врач сейчас посмотрит заключение и объяснит рекомендации.

Она не делает из описания общего диагноза и не отвечает на вопрос, почему я упал. Данила спрашивает, кому звонить ночью, если мне станет хуже. Алиса называет скорую и ещё раз говорит, при каких симптомах не ждать.

Потом врач приёмного покоя повторно осматривает меня, пишет рекомендации, говорит о режиме, еде, сне и повторном обращении. Отпускает только с сопровождающим. Данила выслушивает так внимательно, будто получает инструкцию по перевозке стекла.

— Я сам могу, — говорю я.

— Можешь повторить про рвоту? — спрашивает он.

Я повторяю. Он кивает: значит, слышал.

. . .

К вечеру белый коридор становится серым. Окна темнеют, и в них появляются кресла, наши пальто, санитарка с ведром. Я перестаю различать собственное отражение, пока мы не подходим ближе.

У выхода Данила достаёт ключи от машины.

— Домой поедешь ко мне. Мама оставила суп.

— Мне нужно к себе.

— За чем?

— Переодеться.

— Возьмёшь мой свитер.

— Он на меня мал.

— Натянем.

Я смотрю на него и впервые за день чувствую, что он тоже едва стоит. Под глазами тени, воротник сбит, на правой руке осталась земля. Он организовал прощание, разговаривал с людьми, платил, искал меня глазами в толпе, а потом ловил у ворот.

— С Алисой неловко было, — говорю я.

Он нажимает кнопку сигнализации. Машина отвечает с улицы коротким звуком.

— Видел.

— Мне хотелось, чтобы она спросила про Илью Марковича.

— Почему?

— Тогда я мог бы объяснить.

Данила открывает дверцу, но я не сажусь.

— А она спросила, ел ли я. И мне стало стыдно.

Он опирается локтем о крышу.

— За чай?

— За то, что я опять ждал другого разговора.

Данила молчит. Из больничных дверей выходит женщина с ребёнком, и он отодвигается, чтобы дать им пройти. Ребёнок держит апельсин обеими руками. Женщина дважды благодарит его.

— Поехали, — говорит Данила. — Суп остынет.

— Его можно подогреть.

— Ну вот сам и ответил.

Я сажусь в машину. На сиденье лежит папка комментария. Я передвигаю её на заднее сиденье, чтобы не прижимать коленями. Данила не комментирует.

Когда он заводит мотор, у служебного входа появляется Алиса. Она уже в пальто, с сумкой через плечо. Замечает меня и подходит. Я опускаю стекло.

— Тебя отпустили?

— Да. Данила везёт меня домой.

Она кивает.

— Хорошо. Выполняйте рекомендации.

Пауза должна была закончиться. Она сдвигает сумку и решается на другой разговор.

— У меня осталась коробка твоих вещей. Не одежда. Письма.

— Какие письма?

— Твои. Нине Павловне. Она часть отдала мне ещё до больницы и просила вернуть тебе. Я тогда не отдала. Потом всё стало не до этого.

Я держусь за ремень безопасности. Данила выключает печку, чтобы лучше слышать.

— Почему тебе? — спрашиваю я.

— Она так решила. Там ещё два её конверта, я не вскрывала те, что адресованы не мне.

Алиса достаёт из сумки небольшой блокнот, вырывает лист и пишет номер.

— В субботу, четвёртого, в четыре я могу подойти в кафе возле больницы. На полчаса. Коробку принесу.

Я беру листок. Её почерк остался прежним, только теперь цифры ровнее.

— Приду, — говорю я.

Она отходит от машины, а я продолжаю смотреть на номер, хотя знаю его наизусть.

В машине Данила поворачивает ко мне лицо.

— Есть будешь?

— Буду.

Он включает первую передачу.

На коленях у меня лежит больничный браслет, который я забыл снять. Я отщёлкиваю его ногтем и кладу в карман. Потом поворачиваю листок Алисы. Под номером она написала: «Суббота. 16:00. Письма».

До субботы три дня. Я не знаю, зачем матери понадобилось возвращать мне собственные слова.

Глава 2. Нарушенный обет

Кафе находится в доме через дорогу от больницы. Здесь пахнет корицей, молоком и влажными зонтами. За окном автобус закрывает половину вывески, и люди у стойки несколько секунд стоят в его зелёном отражении.

Четвёртого октября я прихожу за двадцать минут. Выбираю столик у стены, откуда видны обе двери: входная и служебная. На телефоне лежит заготовленный текст. Я переписал его трижды. В последнем варианте нет ни одной цитаты, зато осталась фраза о том, что мы оба нарушили данные друг другу обещания. Она кажется мне честной. Я репетирую её, двигая вилкой по краю салфетки.

Алиса и Максим входят вместе. Она несёт коробку из плотного серого картона. Он держит над ней пальто, хотя дождь уже кончился. У него на плече тёмное пятно от воды.

Я встаю слишком быстро и задеваю стол. На нём звенит пустая ложка.

— Привет, — говорит Алиса.

Она ставит коробку не мне на колени, а на свободный стул.

— Это всё?

— Всё, что нашла. Ещё был пакет с дисками, но они мои, из учёбы. Я их оставила.

Максим протягивает руку.

— Здравствуй.

Мы здороваемся. Его ладонь сухая, пожатие короткое. Я почему-то ожидал, что он останется у двери или сделает вид, будто ему нужно звонить. Он садится рядом с Алисой.

— Мы потом заедем за полкой, — говорит она мне. — Заказали для кабинета. Поэтому Максим с коробкой помог.

— Понятно.

Подходит официантка. Алиса заказывает чай с облепихой, Максим — американо. Я смотрю в меню, хотя уже выбрал, и прошу такой же кофе. Три напитка приносят на разных блюдцах. У Максима ложка длиннее наших. Он меняет её на мою, потому что моя короче и тонет в стакане.

Эта маленькая забота почему-то лишает меня начала. Я открываю телефон.

Алиса замечает экран.

— Ты записал?

— Не хотел сбиться.

— Говори как получится.

— Нет, тут важно точно.

Я читаю первые две фразы. В них я благодарю её за встречу и говорю, что не собираюсь пересматривать прошлое ради возвращения. Дальше идёт предложение о взаимных обещаниях. Я произношу его, глядя в коробку.

Максим поднимает чашку, но не пьёт.

Алиса кладёт ладони на стол.

— Стоп. Кто «мы»?

— Мы с тобой.

— И что я обещала?

Я смотрю на Максима. Он сидит прямо, не отодвигаясь, и ждёт вместе с ней.

— Я не хочу обсуждать его при нём, — говорю я.

Максим ставит чашку.

— Тогда не обсуждай. Или говори со мной.

— Я говорю с Алисой.

— Сейчас ты говоришь обо мне в третьем лице. Это неудобно.

Он не повышает голос. Официантка проходит мимо и ставит за соседний стол булочку. Максим отодвигает своё блюдце, чтобы освободить ей место, хотя она уже ушла.

— Хорошо, — говорю я. — Максим, я не хочу делать из тебя причину всего разговора.

— Не делай.

Алиса проводит пальцем по кромке коробки.

— И меня, пожалуйста, не делите. Ты принёс речь. В ней есть то, что сделал ты сам?

— Я пытаюсь быть справедливым.

— Справедливым ты успеешь стать потом. Сейчас у тебя первой идёт моя вина.

Она говорит тихо и на последних словах сбивается. Достаёт из стакана ложку, кладёт её не на блюдце, а на салфетку.

Я сворачиваю текст на телефоне. Экран гаснет.

— Хорошо. Моя часть.

Максим смотрит в окно. Я начинаю без листа.

. . .

Сначала я называю ночь, когда она просила меня выйти из-за компьютера и сказать, уезжаем ли мы к её отцу. Я ответил, что решаю важный вопрос с текстом. Отец ждал нас на вокзале. Она поехала одна, а я даже не помнил, какой это был месяц.

— Август, — говорит Алиса. — Двадцать второго.

— Да. Август.

Потом — её первый уход к подруге. Она сказала, что не может больше спать в комнате, где я ночью читаю вслух. Я предложил купить ей беруши. На следующий день она вернулась, и я решил, что разговор состоялся.

— Ты принёс мне беруши в косметичке, — говорит она. — Подарочной.

— Я помню.

— Они были розовые.

— Да.

Максим усмехается в чашку, но тут же перестаёт. Алиса тоже улыбается, не мне, а самой нелепости воспоминания.

Я вспоминаю её ночную смену в феврале. Она попросила встретить её утром, потому что за окном был гололёд, а ей предстояло ехать с тяжёлой сумкой. Я обещал. Ночью мне пришла в голову формулировка для статьи, я сел за стол и увидел время только в половине десятого. Алиса уже добралась домой.

— Ты открыл дверь и спросил, почему я не позвонила, — говорит она.

— Я спал?

— Нет. Ты стоял в наушниках. Сказал, что могла догадаться вызвать такси.

Максим опускает взгляд к столу. Мне хочется объяснить ему, что тот месяц был трудным, но при нём это снова прозвучит как попытка назначить его слушателем моего оправдания.

— Я помню сумку, — говорю я. — Она была сине-серая.

— Синяя.

— Ты её больше не носишь?

— Порвалась ручка. Я выбросила.

Алиса говорит без торжества над уликой. Сумка не хранилась у неё для этого разговора.

— Я тогда сказала, что больше не буду просить. Ты обрадовался, потому что решил: я стала самостоятельнее.

— Да.

— А я ждала, спохватишься ли ты сам. Не предупредила, что жду. Мне казалось, если скажу, проверка уже не считается.

Я смотрю на неё.

— Но я должен был заметить без проверки.

— Должен. Это я не спорю. Просто я потом ещё и злилась, когда ты не угадывал. Могла один раз нормально сказать, чего хочу, а я молчала.

Она достаёт из стакана ягоду облепихи и раздавливает её ложкой. Чай стал слишком крепким.

— Иногда я уже не хотела, чтобы ты догадался. Хотела оказаться права, когда ты не догадаешься. Это было некрасиво.

— У тебя были причины злиться.

— Были. Но я не каждый раз злилась по этим причинам. Иногда просто хотела, чтобы и тебе стало неудобно.

Я киваю. В заготовленной речи слово «обоюдный» стояло первым. Сейчас я понимаю, что написал его, чтобы заранее разделить между нами то, что ещё даже не назвал.

Я говорю о втором уходе. О том, как она спрашивала, люблю ли я её, а я начал объяснять разницу между любовью как выбором и любовью как состоянием. О том, как в третий раз она собрала вещи, а я помог закрыть чемодан и спросил, не забыла ли зарядку.

Алиса смотрит на свои руки.

— Ты ещё спросил, твой это кабель или мой.

— Я думал, это забота.

— Я собирала чемодан, а ты держал кабель. Мне тогда стало так обидно, что я даже ответить не могла.

Максим достаёт из кармана чистый носовой платок и молча кладёт рядом с ней. Алиса не плачет, но платок оставляет.

— Я обещал быть рядом, — говорю я. — Не только тогда, когда мы... Ну, когда обещания говорят. Потом тоже. К отцу поехать. После смены встретить. Выйти из-за стола. А я каждый раз находил дело, которое нельзя отложить. Ты возвращалась, и я решал, что всё обошлось. Тебе приходилось снова... — я останавливаюсь, потому что слово «доказывать» кажется слишком удобным, но другого не нахожу, — снова доказывать, что меня нет.

Алиса не опускает глаза.

— Только не добавляй сейчас «но».

— Не добавлю.

— И не говори, будто я годами просто ждала, что ещё ты со мной сделаешь.

Я пью остывший кофе. Горло остаётся сухим.

— Я сама уходила и возвращалась, — продолжает она. — Сама решала, что ещё можно потерпеть. Иногда ошибалась. Если ты сейчас назначишь себя виноватым за нас двоих, получится, что и мои решения были твои.

Она смотрит на Максима. Тот не берёт её за руку, хотя её пальцы лежат близко.

— Мы с ним начали встречаться до моего окончательного ухода. Я знала, что делаю. Могла сначала прямо закончить брак. Не закончила. Это мой поступок, не надо записывать его в свой список.

Максим поворачивает чашку за ручку.

— Я тоже знал, что брак не закончен, — говорит он. — Можешь мне это сказать, если хочешь. Не ей одной.

Я смотрю на него. У него на рукаве застряла белая нитка. Я отмечаю это, потому что не знаю, куда девать взгляд.

— Ты знал, — повторяю я. — И продолжил.

— Да.

— Почему?

Он думает.

— Сказал себе, что у вас и так всё кончено. Было удобно.

Алиса достаёт салфетку и складывает её вдвое.

— Мы не ждём, что ты нас сейчас простишь, — говорит она.

— Я не...

— Погоди. Я не прошу тебя решить, кто из нас честнее. Просто не хотела, чтобы ты услышал это потом от кого-нибудь другого.

Она поправляет рукав, потому что он сполз и мешает ей держать чашку. Потом касается коробки на свободном стуле.

— А приехали мы вообще-то вот это отдать.

Я спрашиваю, как её работа.

— Тяжело, — говорит она. — Местами скучно. Иногда очень хорошо.

Она рассказывает о новом аппарате, к которому пришлось привыкать, о враче, который пишет направления неразборчиво, о дежурстве в выходной. Ничего героического. Максим знает фамилию её заведующего и напоминает, что в субботу она обещала выспаться.

— Не обещала, — говорит она.

— Сказала: «Не буди меня даже пожаром».

— Это не то же самое.

Он соглашается слишком быстро, и она толкает его коленом под столом.

У меня внутри поднимается острая зависть. К её способности сердиться на бытовую мелочь и не проверять, как это выглядит. К его знанию, что она говорила вчера. Мне хочется назвать это любовью, чтобы получить право на собственную боль. Но я молчу.

Максим открывает заметку со списком дел.

— Мебельный в шесть закрывается. Если успеем, потом сервис.

— Кофемолку можно и завтра забрать, — говорит Алиса.

— Ты сама сказала, что без неё по утрам несчастная.

— Я по утрам вообще несчастная. Кофемолка тут ни при чём.

Он убирает телефон, но она уже смотрит на часы.

— Ты счастлива? — спрашиваю я.

Алиса отодвигает чашку.

— Какой у тебя талант задавать вопросы, после которых любой ответ звучит глупо.

Я жду.

— Да. Не каждый день одинаково, конечно. Но мне сейчас хорошо. Спокойнее, чем раньше.

Максим не добавляет к этому ничего. Он достаёт телефон и проверяет время ещё раз. Алиса замечает.

— Нам правда пора скоро.

Я спрашиваю про письма.

— Мама давно собирала? — говорю я.

Слово «мама» выходит само. Она не поправляет меня.

— Часть лежала у неё в шкафу. Часть я принесла после разбора вещей. Ты тогда не хотел ничего брать, кроме книг.

— Помню.

— Нет, ты сказал: «Оставь то, что можно использовать».

Я не помню этой фразы. От неё становится стыднее, чем от многих пунктов моего списка.

Алиса придвигает коробку.

— Там сверху твоё. Внизу бумаги Нины Павловны. Я не сортировала.

— Спасибо.

Она достаёт из кармана ключ и проворачивает его в пальцах.

— Я заходила к ней без тебя. Несколько раз. Ты знал?

— Знал про один раз.

— Мы пили чай. Иногда она просила помочь с телефоном. Иногда просто ругала меня за то, что я пришла после смены и собиралась ещё что-то мыть.

Максим слушает так, будто знает эту историю. Он не делает удивлённого лица и не превращает её заботу в свидетельство особой доброты.

— Почему ты мне не говорила? — спрашиваю я.

— Говорила. Ты отвечал: «Хорошо, у вас свои отношения». И возвращался к экрану.

Я вспоминаю эту фразу. В ней тогда слышалось уважение к их самостоятельности. Сейчас я слышу ещё и облегчение: кто-то ездил вместо меня, а мне не нужно было спрашивать подробности.

— Она жаловалась на меня?

— Иногда. Один раз долго ругала тебя за кран. Потом сказала, что ты всё-таки прислал сантехника. Она не собирала из тебя только плохого человека.

— И ты?

Алиса кладёт ключ на стол.

— По-разному. Иногда защищала тебя. Иногда поддакивала. Не помню, чтобы я каждый раз понимала, как правильно.

Максим берёт ключ со стола и кладёт его в её карман, чтобы она не забыла. Она кивает ему.

— Нина Павловна просила вернуть письма не для нашего примирения, — добавляет Алиса. — Она хотела, чтобы у тебя остались твои слова. Что с ними делать, я не знаю.

— Я не буду спрашивать у неё через тебя, — говорю я.

Алиса хмурится.

— Я всё равно не знаю, что она сказала бы тебе сейчас. Могу передать только то, что она действительно говорила.

— Понимаю.

— И давай больше не встречаться ради неё. Если найдётся ещё что-то, я отправлю курьером.

Я чувствую желание возразить, что память о матери может быть общим делом. Но это снова был бы способ оставить дверь приоткрытой.

— Хорошо.

Мне приходит в голову попросить её позвонить Лидии Бруновне и сказать, что я не всегда был таким, каким выгляжу по документам. Пока я подбираю первую фразу, Алиса поднимается и начинает собирать вещи. Я пододвигаю ей сумку и ничего не прошу.

Максим берёт коробку, чтобы перенести к выходу. Потом останавливается.

— Ты заберёшь её сам? У тебя рука в порядке после падения?

— Да.

— Она тяжёлая.

— Донесу.

Он ставит коробку обратно. Не проверяет мою силу и не настаивает.

У кассы Алиса оплачивает свой чай и кофе Максима прежде, чем я достаю карту. Я хочу заплатить за всех. Она качает головой.

— Свой заплати сам.

Я плачу за свой кофе. На экране терминала сумма выглядит непропорционально маленькой.

На улице они уходят в сторону парковки. Максим несёт её сумку, Алиса сама держит пальто. Перед поворотом она машет мне рукой коротко, как знакомому.

. . .

Я сажусь на скамью под навесом остановки. Коробка не помещается между коленями, и я прижимаю её боком. Автобус уезжает, оставляя запах солярки. Прохожие обходят нас, иногда задевая картон пакетами.

Крышка заклеена бумажным скотчем. На ней написано моё имя. Почерк Алисы. Под именем она добавила «письма», а потом зачеркнула и написала «бумаги». Это точнее.

Сверху лежит тонкий белый конверт без марки. Я открываю его.

Письмо написано на обороте больничного бланка, но не последнего. Дата стоит за год до смерти матери. Я узнаю собственный почерк: высокие буквы, слишком плотные строки, торопливый наклон к концу.

«Мама, я приеду вечером. Не готовь ничего сложного, только чай. Мне нужно закончить один фрагмент, и я сразу выйду. Не звони днём, это собьёт меня. Вечером обязательно».

Дальше две строки о диссертации. Обещание приехать занимает меньше места, чем объяснение, почему его можно отложить.

Я читаю снова. Пытаюсь вспомнить, приехал ли в тот вечер. Не могу. В памяти есть мать на кухне, полотенце на её плече и мой голос по телефону, но дата не возвращает комнату. Может быть, я приехал через неделю. Может быть, она ждала именно тогда.

Складываю письмо по прежним линиям. Оно не хочет ложиться ровно: бумага давно приняла другую форму. Я вставляю его в конверт и убираю в карман, отдельно от остальных.

Следующие конверты перевязаны резинкой. Она рассыпается, когда я трогаю её ногтем. Жёлтые кусочки падают на мокрый асфальт. Я собираю их, чтобы не мусорить, и долго не могу поднять один ногтями.

В коробке лежат открытки без подписей, список лекарств, счёт за ремонт крана, моя старая фотография с обрезанным краем. Ниже — тетрадь в клетку. Я не открываю её на улице.

На самом дне нахожу сложенный вдвое лист. На первой стороне написано: «Илье Марковичу Гнесину». Почерк матери. Под адресатом — её пометка: «отправлено 18 ноября 2013».

Я разворачиваю лист. Это черновик письма, с зачёркнутыми словами и аккуратными исправлениями над строками.

«Здравствуйте, Илья Маркович.

Не знаю, правильно ли я делаю, что пишу Вам. Артём после всего, что произошло с защитой, собирался уехать и говорил, что в городе его ничто не держит. Спасибо, что Вы тогда поговорили с ним и удержали…»

Дальше слово «удержали» зачёркнуто. Над ним мать написала: «помогли остаться».

Я останавливаюсь на этом исправлении.

В ноябре тринадцатого года я помню пустую аудиторию, свою незащищённую работу и разговор с Гнесиным на лестнице. Он сказал, что у меня плохо сделан источниковедческий раздел. Я решил, что это единственная причина, по которой он меня остановил.

Теперь перед лестницей встаёт ещё одна комната, которой я не видел: мать садится писать Гнесину, зачёркивает слово «удержали» и долго правит одну строку. Я не знаю, что он ответил ей.

Я убираю лист обратно в коробку. Подходит следующий автобус. Люди начинают толпиться у дверей, а я остаюсь на скамье с коробкой на коленях.

В её дне лежит доказательство того, что Гнесин вмешался в мою жизнь за одиннадцать лет до смерти. Я ещё не знаю, что именно он обещал матери.

Глава 3. Без заступничества

Утром восьмого октября я расстилаю на полу комнаты три листа ватмана. На первом пишу «вернуть», на втором — «оставить», на третьем — «не знаю». Оксана Марковна заглядывает в дверь с корзиной белья.

— У тебя бумаги размножаются?

— Это из коробки Алисы.

— Только под ноги не клади. Данила ночью встанет и всё соберёт пяткой.

Она переставляет корзину на другую руку.

— Чай будешь?

— Буду.

— Тогда третью кучу потом сделаешь. Сначала чай.

Я выхожу на кухню. Она наливает мне в высокий стакан и ставит рядом две ложки варенья. Данила уже уехал на смену. На холодильнике его записка о платеже за права, придавленная магнитом с буквой «Д».

— Ты сегодня в архив? — спрашивает Оксана Марковна.

— После обеда.

— Не опаздывай. Соня вчера спрашивала, умеешь ли ты пользоваться новым сканером.

— Откуда ты знаешь?

— Она Даниле звонила. Ты трубку не брал.

Возвращаюсь к письмам с чаем. Пить над бумагами нельзя, поэтому оставляю стакан на подоконнике. Варенье растворяется медленно, тёмная полоса поднимается вверх.

Сначала я раскладываю документы. Не читаю личные страницы подряд. Счета, рецепты, квитанции, справки. В папке попадается удостоверение Алисы о повышении квалификации и старая банковская справка на её имя. Рядом — ключ с биркой «дача», хотя дачи у её родителей уже нет. Всё это я кладу на «вернуть».

На «оставить» идут мои письма матери. На третий лист — её записи, смысл которых я ещё не понимаю. Там оказывается список покупок, телефон женщины по имени Валя и половина поздравительной открытки. Я не пытаюсь определить, что из этого предназначено мне.

В одном конверте лежат чеки за курьерскую доставку лекарств. Я складываю их по датам, потому что это единственный порядок, который не требует от меня придумывать историю. Два чека относятся к последней госпитализации. Третий более ранний, с длинным адресом магазина на обороте. Я не знаю, зачем мать сохранила его, и оставляю неизвестность на месте.

В тетради в клетку нахожу незаконченный список: «кран, лампа в коридоре, Тёме позвонить, документы из поликлиники». Последний пункт не зачёркнут. Ниже мать начала писать слово «при…» и оборвала. Я смотрю на него дольше, чем следует. Можно решить, что это «приезжай». Можно — «принести», «приобрести», «прислать». Я закрываю тетрадь и не дописываю за неё.

Оксана Марковна проходит по коридору и останавливается у двери.

— Ты там не зарылся?

— Почти закончил.

— Чай стынет.

Я беру стакан с подоконника. Он действительно остыл. Варенье лежит на дне тёмным кружком. Я размешиваю его и пью, стоя над уже закрытой тетрадью.

— Если какие-то квитанции нужны для налогов, отдай мне посмотреть, — говорит она. — Только личные письма мне не показывай.

— Зачем тебе квитанции?

— Не мне. Бухгалтеру на работе, он разберётся. Не выбрасывай всё подряд в порыве.

Я обещаю сначала спросить. Она уходит с корзиной, а я возвращаю чеки в отдельный файл. На нём пишу не «прошлое», а «документы, срок хранения уточнить».

Письмо Гнесину лежит отдельно. Я прижимаю его тяжёлой линейкой и разворачиваю с начала.

«Здравствуйте, Илья Маркович.

Не знаю, правильно ли я делаю, что пишу Вам. Артём после всего, что произошло с защитой, собирался уехать и говорил, что в городе его ничто не держит. Спасибо, что Вы тогда поговорили с ним и помогли остаться. Он мне не рассказывал Ваш разговор, только сказал, что Вы дали ему работу и велели не делать выводов до утра. Для него это очень серьёзно, потому что обычно он выводы делает раньше событий».

Последняя фраза зачёркнута. Мать часто убирала шутки из официальных писем, даже если адресат был знакомым.

«Я хочу просить Вас не бросать его сейчас. Не в смысле опекать или решать за него. Если у него снова ничего не будет получаться, пусть приходит и работает. Вы умеете сказать ему про ошибку так, что он хотя бы сначала сердится, а потом всё-таки читает. Мне он сейчас не верит, когда я говорю, что можно начать сначала.

Не приезжайте к нему вместо меня и не говорите, что я писала. Я не хочу делать из Вас посредника. Просто помогите ему остаться в работе после незащиты. Если он спросит, я скажу сама.

Ещё раз спасибо за то, что удержали его в городе. Не за то, что рядом со мной — ему здесь есть чем заниматься.

Нина Павловна Верещагина».

К последней строке приписано: «Письмо отправлено 18 ноября 2013».

Я перечитываю просьбу «помогите ему остаться в работе». В моей памяти остаются лестница, список источников на полях и указание прийти на следующий день. До сегодняшнего утра я не знал, что перед этим мать писала Гнесину. О его ответе черновик не сообщает ничего.

На полях мать написала: «Позвонить ему самой». Потом зачеркнула. Неизвестно, позвонила ли. Я складываю письмо и отношу на «оставить».

До обеда я закрываю коробку. В ней остаются только личные бумаги. Папку для Алисы упаковываю отдельно и составляю короткую опись. Подписываю число: восьмое октября. В сообщении пишу, что передаю найденные документы и ключ курьером, встречаться не нужно. Она отвечает через несколько минут: «Приняла сообщение. Курьеру передам у входа».

Я перечитываю ответ дважды, потом вызываю курьера на двенадцать.

Курьер приезжает вовремя. Это молодой человек в жёлтой куртке, он просит проверить, не торчит ли что-нибудь из пакета. Я показываю опись.

— Получатель распишется?

— Да.

— Тогда всё. Не надо больше скотча.

Я отдаю пакет. На лестнице он звонит Алисе и называет её имя. У меня появляется желание попросить его подождать и вложить ещё одну записку. Я не знаю, что в ней написать, поэтому закрываю дверь.

. . .

В архиве пахнет сухой бумагой и кофе из термоса. Соня стоит у компьютера с внешним диском в руке. На её столе две папки без архивных номеров. Она ставит их не рядом с фондом, а на металлическую тумбу.

— Привет, — говорит она. — Ты по сканеру пришёл?

— И по сканеру тоже.

— Хорошо. Сначала другое.

Она достаёт из ящика распечатанное письмо. Внизу подпись Лидии Бруновны, размашистая, с привычным длинным росчерком.

— Лидия разрешила передать Ольге сохранённые файлы, — говорит Соня. — Вот список. Копии на диске, оригиналы писем остаются у неё. Я сверила имена и даты.

Она не спрашивает, как я после похорон. Вчера она прислала одно сообщение: дошёл ли я до дома. Я ответил. На этом разговор закончился.

Сейчас она говорит о работе Лидии.

— Что в файлах?

— Служебные таблицы, переписка по доступам, две версии графика. Ольга посмотрит, что относится к делу. Мы с тобой не будем решать заранее.

Я листаю список. Некоторые названия знакомы мне по «Лествице». Один файл датирован тринадцатым июня. Рука начинает чесаться возле старой мозоли.

— Я могу сам рассказать Лидии, что вы передали, — говорю я.

Соня подключает диск к компьютеру.

— Зачем?

— Ей нужно знать, кто участвует. И я должен объяснить, почему раньше не видел эти документы.

— Она знает. Это её разрешение.

— Но я могу позвонить.

Соня смотрит на меня через плечо.

— Позвонить можешь. Только про эту передачу не говори за меня.

— Я не собирался.

— Ты сказал так, будто она просила тебя.

Она открывает окно проверки файлов. На экране бегут строки контрольных сумм. Соня ждёт, пока первая папка закончит копироваться, и только потом продолжает:

— Если вам нужно поговорить, я не запрещаю. Но копии сохраняла я, Ольге их отвезу тоже я. Не добавляй сюда своё поручение.

Я отхожу от стола, чтобы не заглядывать ей через плечо. Она выполняет просьбу Лидии, и моё согласие здесь действительно ни при чём.

— Хорошо. Не буду звонить про файлы.

Она кивает и возвращается к экрану.

— Диск отвезу я. Ольге это удобно.

— Я мог бы отвезти.

— Мог бы. Но я уже договорилась.

Она показывает мне оборот разрешения. Там отдельной строкой указано, кому можно передать копию и для какой цели. Ни моего имени, ни архива как учреждения в списке получателей нет.

— Здесь написано: одна копия, Ольге, для разбора документов, — говорит Соня. — Если понадобится другой носитель или ещё получатель, я снова спрошу Лидию.

— Даже если без этого придётся ждать?

— Подождём. Она отвечает мне быстро.

Она проверяет, что диск читается на втором компьютере. Не открывает содержимое писем, только сверяет количество файлов и контрольные суммы. Один файл не совпадает. Она удаляет копию и повторяет перенос.

— Вот, — говорит она, указывая на строку. — Если бы просто отнесли, я бы так и не узнала.

Я стою рядом и смотрю, как строка проверки становится зелёной. Она делает всё сама; от меня требуется только не мешать.

— А если она спросит, почему копии были у тебя?

— Отвечу. Она знает, когда и зачем я их сохранила.

Соня замечает, что я всё ещё держу в руке её список, и забирает его у меня.

— Это останется здесь. Тебе копия не нужна.

— Понимаю.

Она подписывает сопроводительный лист: дату передачи и своё имя. Без архивного номера, потому что материалы не принадлежат фонду. Это отдельная частная работа, которую она согласилась выполнять у себя за столом в обеденный перерыв.

Соня достаёт из сумки чистый конверт для диска. В её движениях нет намеренной медлительности. Она просто заканчивает одно действие прежде, чем начать другое.

Я спрашиваю, чем помочь.

— Сканер. Три листа из рабочей описи. Они наши, не Лидии.

Она показывает на стол у окна. Я включаю аппарат, проверяю разрешение и цветовой профиль. Первый лист получается с тёмной полосой слева. Я меняю положение крышки и пересканирую. Соня не подходит проверять каждое движение. У неё на столе остаются диск и сопроводительный лист, у меня — три рабочих файла.

Когда я заканчиваю, она просит показать папку сохранения. Находит один файл с пропущенной цифрой.

— Здесь исправь.

Я исправляю.

— Спасибо, — говорит она.

— За три листа?

— За исправление. Я эту опись уже два раза переделывала.

Она закрывает конверт с диском и убирает его в сумку. Я не предлагаю донести её до машины.

Перед уходом я говорю, что завтра могу прийти раньше.

— Можешь после десяти. До этого меня не будет.

— Хорошо.

— И бумаги свои сюда не приноси. Не надо превращать архив в читальный зал.

Я обещаю.

. . .

Правовая приёмная занимает две комнаты на первом этаже. В коридоре сидят женщина с папкой коммунальных квитанций и мужчина в рабочих ботинках. На стене список документов, которые желательно принести. Кто-то дописал ручкой: «если есть».

Ольга Валерьевна освобождается позже назначенного. Она вызывает меня и сразу извиняется за задержку, не объясняя причину. На её столе лежат моё прежнее письменное согласие дать показания, требование о явке и чистый блокнот.

— Пятнадцатого октября в одиннадцать начинаем подготовку, — говорит она. — Показания назначены на шестое ноября, на девять утра. Кабинет я уточню ближе к дате.

Я открываю календарь.

— Записывайте. Но это не значит, что между этими датами вы должны готовить публичное выступление.

— Я не собирался.

Она смотрит на мой телефон, где вместе с календарём открыт список заметок. Заголовок верхней: «Что я должен сказать».

— Удалять не заставляю, — говорит Ольга. — Пятнадцатого разберём, что из этого факты.

— Я хочу подтвердить всё, что подписал тринадцатого июня.

— Вот это и разберём.

Она поворачивает к себе моё согласие.

— Вы ранее написали, что готовы сообщить об обстоятельствах подготовки объяснения. Это согласие на встречу со мной. Оно не лишает вас процессуальных прав.

— Я не отказываюсь.

— Послушайте сначала. Вы вправе не свидетельствовать против себя и своих близких. Если ответ может быть использован для обвинения вас, вы можете отказаться отвечать. Вам стоит обсудить отдельное юридическое сопровождение. Я представляю интересы Лидии Брунновны, и здесь возможен конфликт интересов.

Она говорит не торжественно, а так же чётко, как называет даты.

— Моя подпись там есть, — говорю я.

— Это может быть доказательством. Именно поэтому я вам это объясняю.

— Если я воспользуюсь правом не отвечать, Лидия…

Ольга поднимает руку, останавливая меня.

— Не надо сейчас решать её исход. Я не обещаю оправдание ни при одном варианте. Вы выбираете после того, как понимаете риск.

Я кладу руки на колени. В комнате слышно, как за стеной кто-то печатает. Принтер останавливается на середине страницы, затем начинает снова.

— Я приду пятнадцатого, — говорю я.

— Хорошо. А шестого ноября явка по требованию остаётся обязательной. Как отвечать на вопросы, которые создают риск для вас, обсудим заранее. И никому не обещайте, что спасёте Лидию.

— Она сама просила?

— Она просила установить факты.

Ольга достаёт из папки лист с тремя графами. В первой стоит «документ», во второй — «что подтверждает», в третьей — «что неизвестно».

— Вот пример. Журнал доступа подтверждает время входа в систему. Он не говорит нам, что вы в этот момент думали. Переписка может подтвердить распоряжение. Она не доказывает автоматически, кто его придумал. Если вы помните разговор, а записи нет, мы так и пишем: разговор по памяти, записи нет.

— Это не ослабит показания?

— Неточность ослабит их сильнее.

Она спрашивает, обсуждал ли я с Лидией будущие ответы. Я говорю, что нет.

— Не согласовывайте с ней версии. Если она сама позвонит, не просите её подтвердить вашу память. Вы можете рассказать о встрече со мной, но не вырабатывать общий текст.

— Я не собирался.

— Хорошо. Тогда запишем это как ваше подтверждение.

Ольга отмечает мой ответ в блокноте и задаёт следующий вопрос про телефонные разговоры.

Я спрашиваю, нужно ли заранее написать Лидии о том, что не жду прощения.

— Не нужно. Это снова будет письмо о ваших ожиданиях. Готовьте документы.

Я закрываю заметку «Что я должен сказать». Больше в телефон ничего не записываю.

Ольга передаёт мне список документов для подготовки. В нём нет пункта о мотивах. Доступы, переписка, версии файлов, объяснение, расписание. Я спрашиваю, можно ли принести собственную хронологию.

— Можно. Разделите то, что видели, и то, о чём догадались.

— А то, что я сделал?

— Это отдельно. Точно.

На выходе она называет мне время ещё раз. Я записываю в календарь не «суд», а «показания», потому что она поправляет формулировку. Шестое ноября остаётся на экране белым квадратом.

. . .

Вечером я раскладываю чистые листы на столе в комнате. Вместо заголовков из поэмы пишу даты. Двенадцатое апреля. Тринадцатое июня. Двадцать восьмое июня. Под каждой датой оставляю место для документа.

На отдельной странице появляется список: «Входил в переговорную», «Видел экран», «Слышал указание», «Собственноручно внёс уточнение». Последнюю строку я перечитываю дольше остальных.

В ящике стола лежит записка, написанная накануне похорон. «Стать другим человеком». Под этими словами я тогда собирался составить новый план жизни, но бумага осталась почти пустой. Сейчас я рву её пополам и выбрасываю в мусорное ведро. Сверху падает использованный чайный пакетик.

Оксана Марковна стучит и спрашивает, буду ли я ужинать.

— Через десять минут.

— Через десять будет холодный.

— Тогда через пять.

— Вот это деловой разговор.

Она оставляет дверь приоткрытой. Из кухни пахнет жареным луком. Я дописываю дату и иду есть.

После ужина звонит Ольга. Она уточняет один пункт из моего старого согласия.

— Вы упомянули собственноручное уточнение в объяснении от тринадцатого июня. Я посмотрела копию. Эта фраза усиливает вывод о вашем осознанном участии.

— Я помню, что писал.

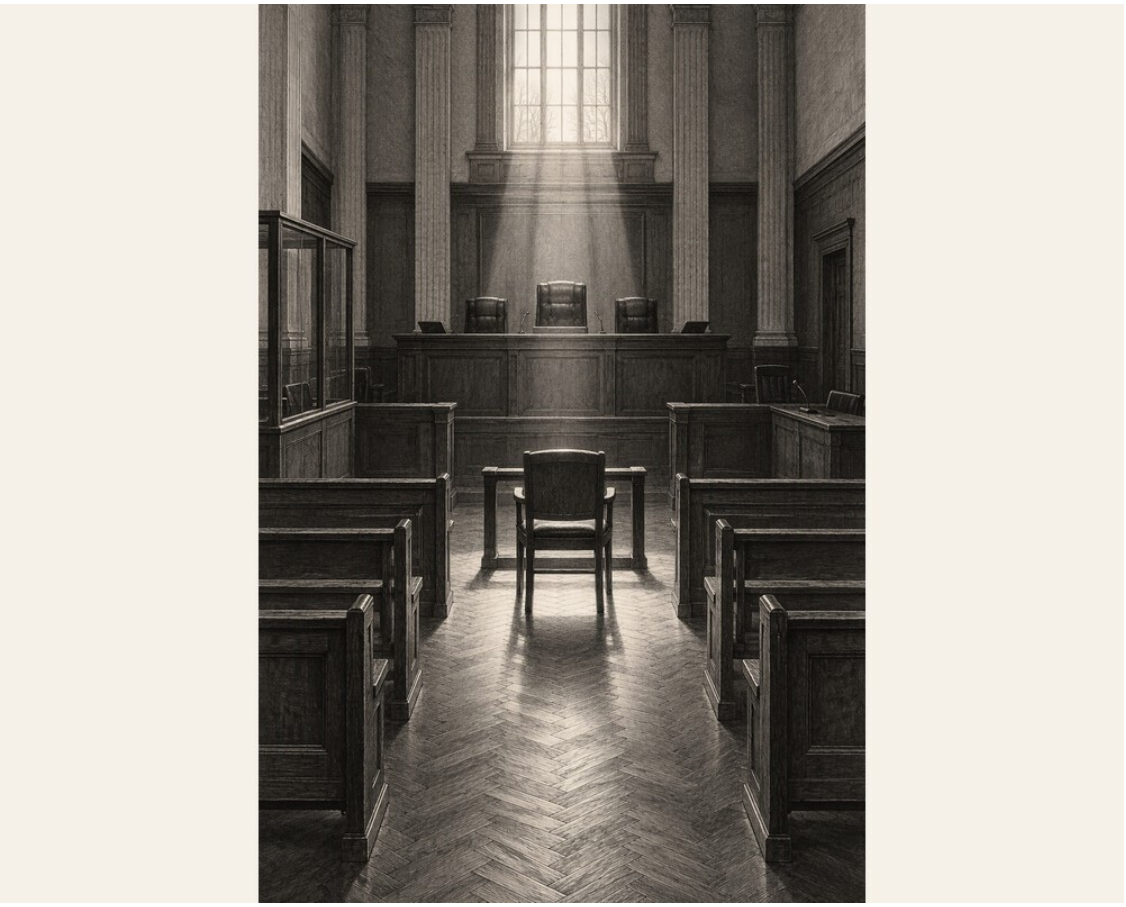
— Она может стать отдельным доказательством против вас. Не только против «Лествицы».

В трубке слышен шорох бумаги.

— Вы готовы пятнадцатого подтвердить происхождение этой записи?

Меркурий

Глава 4. Юрист-волонтёр



Пятнадцатого октября, в одиннадцать утра, Ольга ставит передо мной мою исповедь. Семь страниц. Я принёс их в прозрачном файле, чтобы не сгибать. Она вынимает листы и кладёт файл в сторону.

За окном светит низкое солнце. Оно попадает на верхнюю половину стола. Бумага там кажется жёлтой, а строки внизу серыми. Ольга опускает жалюзи до середины, потом снова поднимает на ладонь.

— Так видно?

— Да.

Она берёт линейку и делит чистый лист на три колонки.

— «Видел», «слышал», «предположил». Будем переносить. Не переписывать красивее, а переносить.

В моём первом абзаце написано, что система требовала жертву и выбрала Лидию Брунновну, потому что она сохраняла достоинство. Ольга читает это вслух без интонации.

— Вы видели, как система выбирала?

— Нет.

— Кто сказал, что нужна жертва?

— Никто так прямо не сказал.

— Значит, пока не переносим.

Она зачёркивает только две строки. Я чувствую раздражение. Не на неё, а на белое поле, которое не принимает мою формулировку.

Следующий абзац: «Фаринатов заранее организовал обвинение и использовал мою зависимость от работы».

— Что видели?

— Мне показали ролик с Лидией. Потом дали текст объяснения. Он был уже подготовлен.

— Кто дал?

— Захар Уголев. Кирилл стоял рядом.

— Фаринатов присутствовал?

— Нет. Он вошёл позже.

Ольга пишет в первой колонке: «Предъявлен ролик. Получен готовый текст». Во второй: «Указания Уголева». Третью оставляет пустой.

— Про заранее организованное обвинение?

— Это я предположил.

Она переносит фразу в третью колонку, сокращая её до «Считал обвинение подготовленным заранее».

— Но так и было, — говорю я.

— Возможно. Для этого ищем документы. Ваша уверенность сама по себе не показывает хронологию.

Она переворачивает страницу. Через час от семи листов остаётся один с небольшим. В нём перечислены предметы, время, имена и действия. Все мои рассуждения о подлости собраны в третьей колонке, и даже там их меньше, чем я ожидал.

— Здесь вы пишете, что предали её, — говорит Ольга.

— Это не предположение.

— Это оценка. Факт — подписали объяснение.

— Я знал, что объяснение ложное.

— Тогда так и запишем: «Знал, что отдельные утверждения не подтверждены». Какие именно?

Я называю пункт о согласовании расходов. Она подчёркивает.

— Продолжим после перерыва?

— Нет.

— У вас рука дрожит.

Я смотрю на пальцы. Они действительно мелко дрожат над столом.

— Не из-за вопросов.

Ольга не спорит. Она наливает воду из графина и ставит стакан с моей стороны.

— Пять минут. Можно молчать.

Мы молчим. В коридоре женщина спрашивает, как восстановить квитанцию. Другой голос объясняет, куда подойти. Ольга складывает мои страницы ровной стопкой, не по значимости, а по номерам.

Я пью воду. Дрожь не исчезает, но рука перестаёт касаться края стакана.

— Готова продолжать, — говорит Ольга. — Вы?

— Да.

Она открывает новый лист.

. . .

Ролик я помню не как кино. Это был файл на ноутбуке Кирилла, остановленный на кадре, где Лидия Бруновна смотрит чуть в сторону от камеры. Голос произносит фразу о переводе денег. Губы движутся не совсем в том ритме, но тогда я решил, что причина в плохой записи.

— Вы видели, как записывали? — спрашивает Ольга.

— Нет.

— Вам кто-нибудь сказал, что это монтаж?

— Позже Кирилл сказал, что «собрали материал».

— Дословно?

Я закрываю глаза. Воспоминание сразу становится удобным: хочется придать ему точность, которой не было.

— Не помню дословно. Смысл такой.

— Тогда не пишем в кавычках.

Она отмечает: «Слова о сборке материала, точная формулировка не сохранилась».

— Кто присутствовал?

Я перечисляю. Она просит не добавлять людей, которых я видел в тот день в других комнатах. Мне приходится убрать Марту Львовну: я встретил её у лифта, не в переговорной.

— Ночные файлы, — говорит Ольга. — Что это значит?

— После той встречи я заходил в проектное хранилище ночью. Смотрел версии документов.

— С рабочего компьютера?

— Да.

— Доступ у вас оставался по договору?

— Технически да. Я не должен был открывать часть папок.

Она делает пометку и смотрит на меня.

— Это тоже может иметь последствия. Не украшайте и не прячьте.

— Хорошо.

— Что именно вы увидели?

— Несовпадение времени изменения файла и даты внутри документа. В объяснении стояло, что решение принято раньше. По файлу получалось позже.

— Вы сохранили копии?

— Часть. Не всю последовательность.

— Где?

Я называю диск и старый ноутбук. Она записывает место хранения, затем спрашивает, передавал ли я копии кому-нибудь. Я вспоминаю Соню и останавливаюсь.

— Не эти. Соня передаёт другие документы Лидии.

— Не смешиваем.

Мы переходим к подписи. Ольга кладёт передо мной копию объяснения от тринадцатого июня. Внизу моя фамилия. Посередине абзаца — две строки, написанные от руки: «Все решения о сокрытии источника принимались Л. Б. Штерн лично. Я действовал по её прямому указанию и не имел самостоятельных полномочий ставить происхождение данных под сомнение».

— Ваша запись?

— Да.

— Обе фразы писали вы?

— Да.

— Под диктовку?

Я вспоминаю, как Уголев ушёл, оставив мне время, потом вернулся. До этого я составил собственную хронологию, в которой в центре оказался сам. Потом отложил её и написал другое.

— Нет. Основной текст мне дали. Это уточнение я добавил сам.

— Откуда взялось «прямое указание»?

— Я написал.

— Лидия Бруновна запрещала вам ставить происхождение данных под сомнение?

— Нет.

Ольга не делает следующий шаг за меня. Она ждёт.

— Я сам отвечал партнёру и сам решил не проверять права, — говорю я. — Мне нужно было, чтобы моя роль выглядела послушной, а её — единоличной.

— Для кого?

— Для тех, кто будет читать объяснение. И для себя.

Она записывает только первую часть. Потом спрашивает, хочу ли я включить вторую.

— Включите.

Она дописывает: «Так объясняет свой мотив».

— Не доказанный факт, — говорит она. — Ваше заявление о мотиве.

Я киваю.

Свет сдвигается по столу. Теперь он лежит на моём запястье. Я убираю руку, потому что кожа начинает гореть. Ольга замечает движение и полностью задвигает жалюзи. Включает настольную лампу. Под ней почерк на копии становится резче.

— Это вы могли не писать, — говорит она.

— Да.

— Вас заставили физически?

— Нет.

— Обещали восстановление в штате?

— Не прямо. Сказали, что вопрос моего дальнейшего сотрудничества будет решаться после закрытия проекта.

— Кто?

Я называю Фаринатова. Его слова помню лучше, но прошу не ставить кавычки, пока не сверю с перепиской.

Ольга смотрит на меня поверх листа.

— Вот теперь у нас есть факты. Не красивые.

У меня возникает благодарность, почти нежность. Я хочу спросить, считает ли она, что я всё-таки делаю правильную вещь. Вместо этого спрашиваю, достаточно ли этого для Лидии.

— Не знаю.

— Но это должно помочь.

— Может помочь установить давление. Может подтвердить вашу роль в подготовке ложного объяснения. Одно другого не отменяет.

Она складывает обе руки на столе.

— Я ещё раз обязана сказать: вы вправе не свидетельствовать против себя. Ваша подпись и собственноручное уточнение могут быть использованы против вас. Не исключена отдельная проверка ваших действий. Я не буду называть вам исход, которого не знаю.

— Понимаю.

— Не уверена, что вы приняли это как реальный риск.

Она говорит о возможной ответственности без пугающих подробностей. Не обещает ни тюрьмы, ни оправдания. Советует обратиться к отдельному защитнику по вопросам моего собственного положения. Её задача — интересы Лидии, и мои интересы могут с ними не совпасть.

— Вы можете сейчас забрать хронологию и уйти, — говорит она. — Мы не передадим её как ваше заявление без отдельного подтверждения. Шестого ноября вы можете воспользоваться своим правом по конкретным вопросам.

— А если я уйду?

— Буду работать с другими доказательствами.

— Вы считаете меня трусом?

Ольга смотрит удивлённо.

— Я вам не нравлюсь?

— Нет.

— Тогда почему я должна оценивать вашу смелость?

Я молчу. Она достаёт из папки распечатку сообщения Лидии.

— Она просила передать: не надо самопожертвования. Ей нужна правда о документах. Если вы помните что-то не в её пользу, это тоже нужно сказать. Если не помните — не придумывать.

Слова напечатаны без обращения. Внизу дата и время сообщения.

— Она думает, я хочу купить прощение, — говорю я.

— А вы?

Я чувствую, как лицо становится горячим.

— Частично.

Ольга кивает. Не смягчается.

— По первым страницам я тоже так решила. Вы несколько страниц объясняли, как готовы отвечать, а кто вручил вам текст, назвали только сегодня. Сейчас стало полезнее.

— То есть вы мне не верите?

— Я проверяю то, что можно проверить. О ваших мотивах знаю только ваши слова.

Она отодвигает мою исповедь к краю стола.

— Если вы останетесь ради моего одобрения, на следующем же неудобном вопросе начнёте защищать себя. Поэтому предлагаю ещё раз: заберите листы и подумайте вне этой комнаты. Мне нужны ответы, которые вы не будете переделывать под собеседника.

Я смотрю на дверь. В коридоре уже нет очереди. Можно встать, собрать листы, сказать, что мне нужно подумать. Ольга наливает себе воды и ждёт, не подталкивая меня к выбору.

Я остаюсь сидеть.

— Продолжим, — говорю я.

Ольга открывает следующий файл.

. . .

В час дня она делает перерыв на обед. Мне предлагают оставить вещи в шкафу приёмной, но я ношу папку с собой в столовую на углу. Ем гречку и котлету. Еда безвкусная, зато горячая. Я не открываю записи, пока ем.

В телефоне остаётся непрочитанное сообщение Лапины: она спрашивает, когда удобно поговорить перед процедурой. Я звоню из столовой, потом понимаю, что слишком шумно, и выхожу на крыльцо.

— У меня двадцать минут, — говорит Елена Сергеевна. — Расскажи, как спал эту неделю.

Я называю часы. Две ночи почти без сна, одна лучше. Сегодня проснулся рано, но не стал проверять документы до рассвета.

— Пропуски еды были?

— Вчера один. Сейчас поел.

— Назначенное принимаешь по схеме?

— Да.

— Что происходит с тревогой?

Я говорю про дрожь, про желание получить одобрение Ольги, про строку, которую написал сам. Лапина не перебивает. На заднем плане у неё один раз звонит внутренний телефон, она просит подождать секунду и возвращается.

— Ты можешь отказаться от ответов, которые создают для тебя риск, — говорит она. — Это обсуждается с юристом, не со мной. Я спрашиваю о другом: есть ли признаки, что ты перестаёшь различать происходящее?

— Нет. Коридор не меняется.

— А если сильно устанешь?

— Бывает, что я начинаю искать последовательности.

— Тогда останавливаешь подготовку и говоришь об этом. Не объясняешь себе, что обязан продолжать.

Она предлагает конкретный план: сон и еда в ближайшие дни, заранее оговорённый перерыв, Данила как сопровождающий после показаний, обращение к ней при ухудшении. Отдельно обсуждаем ночь перед шестым ноября. Я записываю в телефон, хотя она не требует.

— Может, мне вообще не идти? — спрашиваю я.

— Процессуальную часть обсуждай с юристом. Со своей стороны я сейчас не вижу причин считать, что ты не понимаешь происходящее. Если состояние изменится, будем пересматривать план.

— А если я иду, чтобы наказать себя?

— Это может быть одной из причин. Назови ещё одну.

— Там моя подпись. И запись, которую я сам добавил.

— Вот это и будет частью разговора с Ольгой. Не превращай телефонный звонок со мной в ещё одно разрешение идти или не идти.

Она спрашивает, что я буду делать сегодня после приёмной.

— Поужинаю с Оксаной Марковной. Если голова не разболится, почитаю что-нибудь не связанное.

— Данте?

Я улыбаюсь впервые за день.

— Детектив.

— Хорошо. Только не засиживайся до ночи. В одиннадцать отложи и телефон, и книгу.

Я обещаю постараться. Мы договариваемся о внеплановой связи, если сон снова сорвётся.

После звонка я стою на крыльце ещё минуту. Мимо проходит санитар с пустой каталкой. Он останавливается возле урны и разговаривает по телефону о том, что дома закончился кошачий корм. Я возвращаюсь в приёмную.

. . .

После обеда Ольга раскладывает распечатки по датам. Мы исправляем мою хронологию. Ночной доступ я поставил на четырнадцатое июня, а в журнале стоит пятнадцатое, 01:12. Я уверен, что журнал ошибается.

— Почему? — спрашивает она.

— Потому что четырнадцатого я был у матери.

— У вас есть подтверждение?

Я открываю старые сообщения. Нахожу её текст от пятнадцатого: «Ты вчера так и не ответил». Значит, память сместила день. Я стираю дату и пишу по журналу.

— Отметьте, что первоначально указали иначе, — говорит Ольга.

— Зачем оставлять ошибку?

— Чтобы потом не выглядело, будто вы всегда всё помнили точно. Следователь или суд увидит расхождение. Лучше мы сами его объясним.

Она пишет сноску: «Дата уточнена по журналу доступа; первоначальное воспоминание ошибочно».

В другом месте я утверждал, что Кирилл пришёл до Уголева. Сохранённая переписка показывает обратное. Мы оставляем противоречие: «Порядок присутствующих по памяти не подтверждён». Не всё можно исправить чужим файлом.

К пяти часам стол покрыт листами. В одной стопке документы, в другой мои утверждения, в третьей копии с неясным происхождением. Ольга не скрепляет их вместе.

— Здесь подпишите только хронологию, — говорит она. — Не исповедь, не выводы о вине других. Посмотрите каждую страницу.

Я читаю медленно. Фразы короткие, почти не мои. В них мало места для голоса. Зато видно, где я был и что делал.

Подписываю. Рука ложится на бумагу без красивого жеста. Ольга проверяет дату и вносит шестое ноября в свой календарь. Я делаю то же самое.

— Показания назначены на девять утра, — говорит она. — Встретимся заранее. Никаких публикаций и разговоров с журналистами.

— С каких пор вы ждёте журналистов?

— Я никого не жду. Предупреждаю.

Она убирает подписанную копию в папку, а мне возвращает дубликат. Копия скреплена не по порядку моих листов, а по порядку описи. На первой странице Ольга пишет количество приложений и просит проверить.

— Здесь вы ставите только отметку о получении. Это не ещё одно признание.

Я проверяю страницы и расписываюсь.

— Если вспомню новое до шестого?

— Сначала приносите мне. Не дописывайте поверх подписанного текста. Новый факт оформим отдельно и отметим, когда вы о нём вспомнили.

— А если новое покажет меня хуже?

— Тем более не прячьте. Но сначала обсудим ваши права.

Она даёт мне карточку с телефоном приёмной и объясняет, что по вопросу личной ответственности мне понадобится отдельный защитник. Не назначает его сама и не обещает бесплатное сопровождение на всех этапах.

Я складываю карточку в бумажник. Там ещё лежит больничный браслет. Он мешает закрыть клапан, и я перекладываю его в карман пальто.

— Вы сегодня ели? — спрашивает Ольга уже без процессуальной интонации.

— Гречку.

— Это хорошо. Идите домой. Работать с памятью до полуночи сегодня не надо.

— Вы всегда так разговариваете со свидетелями?

— Только с теми, кто пытается подписать семь страниц вместо обеда.

Она проводит меня до двери. В коридоре мужчина в рабочих ботинках уже ушёл, а женщина с квитанциями сидит на том же месте. Она спрашивает у Ольги, успеет ли попасть к специалисту. Ольга отвечает ей и забывает обо мне на время нужного ответа.

Уже перед уходом я напоминаю о звонке из «Лествицы» одиннадцатого июня. Мне сказали не входить в рабочую группу до особого распоряжения. Я не включил это в первый вариант, потому что не считал важным.

Ольга останавливается.

— Во сколько?

— Вечером. Около семи.

Она достаёт из отдельной папки неучтённую служебную записку Лидии. В ней зафиксировано устное требование ограничить сотрудникам доступ до подписания объяснений. Время — 18:42. Отметки о включении в официальную опись нет.

— Это тот же день, — говорит Ольга.

Она кладёт записку рядом с моей хронологией. Два листа лежат в свете настольной лампы, разные по бумаге и почерку.

— Если подтвердится звонок, появляется последовательность. Сначала ограничение доступа и требование объяснений, потом ваш документ. Это может показать давление, а не только ваше раскаяние.

Я смотрю на время 18:42. Мне кажется, в старом телефоне мог сохраниться журнал вызовов.

— Дома проверю, — говорю я.

— Не проверяйте сами и ничего в нём не меняйте. Сохраните аппарат. Я уточню, кто и в каком порядке должен осматривать и фиксировать данные. Пока у нас есть ваше воспоминание о звонке, но нет проверенного журнала.

Она убирает записку Лидии в отдельный файл и пишет на нём карандашом: «11.06, 18:42 — источник уточнить».

Я убираю подписанную хронологию в папку. На улице уже темно, а в календаре шестое ноября стоит без единой добавленной от себя строки.

Глава 5. Тридцать секунд славы

Игорь Савельев пишет мне вечером двадцать восьмого октября. Мы знакомы по старой истории с «Лествицей»: он брал короткий комментарий, когда конфликт стал публичным. Тогда он дважды перепутал название моей должности. Сейчас должность указана правильно.

«Слышал, ты будешь давать показания по делу Лидии Штерн. Можно поговорить? Не обязательно для публикации».

Я читаю сообщение в приёмной, где пришёл уточнить копию журнала доступа. До встречи с Ольгой двенадцать минут. Отвечаю, что готов объяснить только своё решение. Документы обсуждать не буду.

Игорь предлагает подойти завтра. Я назначаю время после правовой консультации. Потом смотрю на нашу переписку и добавляю:

«Дату и место показаний тоже не публикуй».

Он присылает согласие.

На следующий день мы сидим в маленьком кафе напротив приёмной. Игорь кладёт телефон между нами диктофоном вверх.

— Можно записывать? Так я не искажу.

— Ты написал, что не обязательно для публикации.

— Для точности. Без твоего разрешения не выпущу.

Я разрешаю. Он нажимает кнопку.

Сначала я говорю осторожно. Называю шестое ноября, хотя обещал себе не делать этого. Объясняю, что должен подтвердить происхождение подписи и собственноручной записи. Игорь спрашивает, почему я решил выступить сейчас.

— Потому что раньше я выбрал молчание, когда оно было удобно мне.

— А теперь неудобно?

— Теперь я знаю, что мои слова могут помочь восстановить последовательность.

Он просит проще. Я повторяю другими словами. Получается чище. Мне самому нравится, как это звучит.

— То есть ты рискуешь собой ради бывшей наставницы?

— Я не хотел бы так формулировать.

— Как сформулировать?

Я думаю и отвечаю:

— Есть документы, за которые я отвечаю. Если я буду молчать, они останутся только обвинением против неё.

Игорь кивает. Он не восхищается. Проверяет уровень записи и задаёт следующий вопрос.

Через десять минут я уже сам рассказываю, что Лидия вытащила меня в профессию, что я подписал ложное объяснение, что теперь не прошу её прощения. Я прошу не публиковать личные подробности. При этом называю их все.

— Заголовок нужен? — спрашивает он.

— Ты же обещал без публикации.

— Если когда-нибудь разрешишь. Пока просто спрашиваю.

Я улыбаюсь.

— Только без «филолога, который бросил вызов системе».

— А как?

— Никак. Лучше никак.

Мы выходим на улицу. Игорь просит повторить последний ответ у камеры, потому что в кафе шумно. Он поднимает телефон. Я вижу на экране своё лицо и красную точку записи.

— Секунд тридцать, — говорит он. — Для архива редакции.

Я поправляю воротник. Повторяю ответ о документах. Во втором дубле добавляю, что не боюсь подтвердить собственную подпись. Это звучит сильнее. Игорь говорит: «Отлично».

— Не публикуй без меня, — напоминаю я.

— Хорошо.

Возвращаясь домой, я отправляю ему правильное написание фамилии Лидии и дату тринадцатого июня. Потом фотографию своей подписи, закрыв остальной текст. Он просит её для проверки. Я понимаю, что фотография может стать иллюстрацией. Всё равно отправляю.

Вечером Ольга спрашивает, не общался ли я с прессой. Мы разговариваем по телефону о порядке фиксации данных старого аппарата. Сам журнал вызовов я по её указанию не открываю. Я смотрю на своё отражение в тёмном окне.

— С одним знакомым говорил. Не для публикации.

— Вы мне не говорили.

— Это была личная беседа.

— Больше никаких личных бесед с журналистами.

— Хорошо.

После звонка я открываю переписку Игоря. В ней лежит моя фраза о риске. Я выделяю её и сохраняю в заметки. Не для Ольги. Просто чтобы не потерять удачную формулировку.

. . .

Заметка выходит тридцатого октября в 08:17. Я вижу её раньше, чем сообщение Игоря.

Паблик называется «Городской срез». Заголовок крупный: «Филолог решил спасти наставницу от корпоративной мести». Под ним моя фотография у кафе. Воротник я поправил недостаточно, один край стоит торчком. Мне это не нравится всего секунду. Потом я узнаю себя в тексте.

«Бывший редактор „Лествицы“ Артём Верещагин готов дать показания в защиту Лидии Штерн, хотя это может обернуться против него самого. Филолог, которого компания ранее уволила, решил не молчать и вернуть справедливость женщине, когда-то открывшей ему путь в профессию».

Про мою собственноручную запись сказано так: «Верещагин был вынужден поставить подпись под документами компании». Слова о том, что я сам написал ложное уточнение, исчезли. Вынужденность осталась. Решение стало героическим ещё до шестого ноября.

В конце встроено видео. Тридцать две секунды. Я нажимаю воспроизведение.

Со стороны мой голос ниже, чем я слышу его внутри. Я говорю медленно, смотрю чуть мимо камеры. «Есть документы, за которые я отвечаю…» Пауза после этой фразы получилась хорошо. Я перематываю назад и слушаю снова.

Игорь пишет: «Ты стал интересен людям. Надеюсь, не обидишься — материал уже ушёл. Ты сам говорил, что важна правда».

Я должен позвонить и потребовать удаления. Вместо этого открываю комментарии.

Первый: «Наконец-то кто-то не побоялся».

Второй: «Уважаю. Таких учителей надо защищать».

Третий спрашивает, почему филолог лезет в юридическое дело. Я читаю его внимательнее остальных и готовлю возражение. Потом появляется ещё один комментарий: «Вот это поступок, а не пустые разговоры интеллигентов». Я сохраняю страницу.

За завтраком телефон лежит рядом с тарелкой. Оксана Марковна спрашивает, что случилось.

— Заметку написали.

— Хорошую?

— Неточную.

— А что пишешь?

Я понимаю, что улыбаюсь.

— Ничего.

Она заглядывает в экран.

— Фотография нормальная. Только воротник дурацкий.

— Я знаю.

— Так поправь, если пойдёшь ещё фотографироваться.

Она уходит с пустой кастрюлей на кухню. Я остаюсь с телефоном. Число просмотров растёт небыстро, но каждый раз после обновления становится больше. Я считаю не просмотры, а промежутки между новыми комментариями. Когда десять минут никто ничего не пишет, открываю хронологию Ольги.

На первой странице дата пятнадцатого июня. Я читаю абзац дважды и не запоминаю. Возвращаюсь к паблику.

В комментариях появляется женщина, которая утверждает, что знает меня по университету. Я не помню её имени. Она пишет: «Артём всегда был очень принципиальный». Мне хочется спросить, по какому поводу она это запомнила. Вместо вопроса я ставлю лайк.

Данила присылает ссылку без слов. Потом: «Ты это разрешил?»

Я отвечаю: «Не совсем».

Он звонит.

— Что значит «не совсем»?

— Я дал интервью, но попросил не публиковать.

— А дал зачем?

В его машине шумит радио. Он поворачивается к телефону, чтобы лучше слышать.

— Я хотел объяснить своё решение.

— Кому?

— Людям.

Данила молчит. Я слышу поворотник.

— Лидия знает? — спрашивает он.

— Пока не говорил.

— Ну ладно. Мне некогда. Ты хоть документы читай.

Он отключается. Я снова открываю хронологию, но теперь в голове звучит его вопрос. Отвечаю себе, что публичность тоже может защитить Лидию. Формулировка удобная. Я записываю её в заметки рядом с прежней.

К полудню заметку перепостили два небольших городских канала. Один добавил вопрос: «Сколько ещё сотрудников молчат?» Другой сократил текст до трёх абзацев. Моё имя осталось в заголовке, имя Лидии ушло во второй абзац.

Я иду в магазин. У кассы женщина смотрит на меня дольше обычного. Я думаю, она узнала фотографию. Поправляю воротник и жду.

— Пакет нужен? — спрашивает она.

— Да.

Больше она ничего не говорит. Я разочарован настолько, что забываю взять сдачу с монетницы. Кассир окликает меня.

По дороге домой я слушаю своё видео в наушниках. Тридцать две секунды, пауза, снова начало. На остановке мужчина в соседнем пальто косится на мой экран. Я не блокирую его.

. . .

Ольга вызывает меня в приёмную в тот же день. Она не здоровается. На её экране открыта заметка.

— Вы рассказали журналисту о дате показаний после моего прямого предупреждения.

— Я просил не публиковать.

— А записывать разрешили?

— Для точности.

Она смотрит на меня так, будто проверяет, серьёзно ли я это сказал.

— Вы дали материал, подтвердили фамилии и прислали фотографию подписи. Это не утечка неизвестного происхождения. Это ваше участие.

— Я могу попросить удалить.

— Попросите. Но копии уже распространяются.

Она поворачивает монитор ко мне.

— Здесь написано, что Лидия — жертва корпоративной мести, а вы её спаситель. До рассмотрения доказательств. Противная сторона сможет заявить, что мы формируем давление через публику. Её личные обстоятельства снова обсуждают без согласия.

Я начинаю говорить о публичной защите. Ольга перебивает:

— Не надо повторять мне заготовку. Я видела её в ваших заметках?

Я не отвечаю.

— Вы прекращаете все контакты с прессой. Никаких новых комментариев, интервью, намёков в социальных сетях. Если журналист спрашивает — направляете ко мне. Понятно?

— Да.

— И вы не говорите от имени Лидии Бруновны. Она вам этого не поручала.

В этот момент ей звонят. Она смотрит на экран и говорит мне:

— Это она.

Ольга отвечает. Сначала слушает. Потом произносит: «Он здесь. Да, я уже сказала». Ещё пауза.

Она передаёт мне трубку.

Лидия Бруновна говорит медленно. Я слышу, что она на улице: рядом проезжает машина, ветер шумит в микрофон.

— Мне прислали эту заметку люди, которых я сто лет не видела, — говорит она. — Одна знакомая спросила, правда ли ты меня спасаешь. Другая предложила молитвенную поддержку.

— Лидия Бруновна, я не просил их публиковать.

— Но ты говорил.

— Да.

— Про меня. Про мою работу. Про то, какая я наставница.

Я держу трубку двумя руками.

— Я хотел объяснить, почему даю показания.

— До шестого ещё неделя. Ты мог сначала спросить меня?

— Да.

— Но не спросил. Зато успел рассказать, какая я наставница.

Она кашляет и отодвигает телефон. Когда возвращается, голос суше.

— Что теперь?

— Я попрошу удалить. Могу дать короткое интервью вместе с тобой. Ты сама скажешь, как всё было.

На другом конце становится тихо. Потом она произносит моё полное имя.

— Артём Ильич, никакого совместного интервью. Ни сейчас, ни потом. Мне не нужно место рядом с тобой в кадре.

— Я предлагаю тебе возможность высказаться.

— Я уже высказываюсь через Ольгу. Ты это знаешь.

Она делает паузу, чтобы ответить кому-то рядом, затем продолжает:

— Тебе сейчас нужно, чтобы тебя услышали. Может, защитить меня ты тоже хочешь, я не собираюсь угадывать. Но публика тебе нужна. Не делай вид, будто я об этом просила.

Я не возражаю. Понимаю, что она права, и всё равно вспоминаю первый комментарий: «Наконец-то кто-то не побоялся».

— Публикации я не разрешал, — говорю я. — Сейчас прямо это напишу и потребую удалить. Потом сделаю уточнение.

— Без моей биографии.

— Хорошо.

— И не звони мне после каждого комментария.

Она передаёт трубку Ольге. Разговор заканчивается без прощания со мной.

Я пишу Игорю при ней: разрешения на публикацию не давал, запись разрешил только для проверки точности. Требую удалить заметку и видео. Он отвечает, что материал уже разошёлся и удаление вызовет новые вопросы. Я повторяю требование. Через двадцать минут страница исчезает из паблика. Скриншоты остаются в перепостах.

На своей странице я открываю форму новой записи, но не публикую её. Сначала показываю проект Ольге:

«Я сам сообщил журналисту сведения, которые сам же просил не публиковать. Заметка неточно описывает мою роль: тринадцатого июня 2024 года я подписал объяснение и собственноручно добавил в него неподтверждённое утверждение. Моя ошибка была искренней. Я не „спасаю“ Лидию Бруновну. Она не поручала мне говорить от её имени. Показания назначены на шестое ноября. До этого и после них я не буду давать комментарии прессе. Прошу удалить репосты с моим видео».

Ольга читает с экрана моего телефона.

— Дату показаний уберите. Её уже знают, не надо повторять.

Я убираю. Она вычёркивает предложение об искренней ошибке.

— Это самооправдание. Оставьте факты.

Я сохраняю сокращённый вариант и только теперь публикую его на своей странице.

Первые комментарии под уточнением хвалят честность. Один человек пишет: «Даже признаётся красиво». Мне нравится эта фраза. Я сразу закрываю страницу. Через минуту открываю снова и читаю её ещё раз.

. . .

Первого ноября в архиве я проверяю описи. Телефон лежит рядом с правой рукой экраном вверх. Заметку удалили, но в сохранённых сообщениях осталось видео. Иногда приходят новые ссылки на скриншоты. Люди спорят уже не о Лидии, а о том, можно ли верить человеку, который сначала дал интервью, а потом отозвал его.

Соня приносит две папки.

— Эти номера сверь с бумажным листом. Не с прошлой таблицей, там ошибка в серии.

— Хорошо.

Она ставит папки слева. Телефон мешает мне развернуть лист, и я передвигаю его ближе к ней. На экране остаётся открытый комментарий: «Редкий человек, который не побоялся признать…»

Я вижу, что она может прочитать строку. Не закрываю.

Соня берёт карандаш и отмечает номер в описи. Потом нажимает боковую кнопку моего телефона. Экран гаснет.

— Убери его с листа, пожалуйста, — говорит она. — Сначала закончим эту серию.

— Извини.

Она пододвигает телефон к краю стола, не читая оставшиеся строки.

Я жду вопроса о заметке. Она его не задаёт.

— Ты видела?

— Видела заголовок.

— Там было неточно.

— Ты уже написал уточнение.

Она говорит это без оценки. Пододвигает ко мне следующую папку.

— Сверяй.

Я называю номера вслух. Она отмечает. Через несколько минут телефон вибрирует на краю стола. Соня придерживает лист, который двигается от вибрации.

— Можешь ответить в коридоре, если срочно.

— Не срочно.

Мы продолжаем. В бумажной описи два листа перепутаны местами. Я раскладываю их по номерам и впервые за два дня полчаса не вспоминаю о просмотрах.

Потом Соня уходит за водой. Я беру телефон и разблокирую экран. Новый комментарий: «Верещагин просто хочет славы». Я читаю его несколько раз и начинаю печатать ответ. Хочется объяснить незнакомому человеку всю последовательность, чтобы он не выбирал между хвалой и этой короткой строкой.

Соня возвращается. Я стираю недописанный ответ.

— Номер?

— Какой?

— Последний. Ты остановился.

Я смотрю на лист и не могу вспомнить. Она ждёт.

— Сто четырнадцать.

— Сто двенадцать.

Я исправляю запись.

— Давай я уберу телефон в сумку, — говорю я.

— Давай.

Она не благодарит. Мы заканчиваем серию к обеду. Все номера совпадают, кроме одной исправленной записи. Соня подписывает лист и просит завтра проверить скан.

На выходе я чуть не говорю ей, что были и хорошие комментарии. Останавливаюсь на полуслове.

— Что? — спрашивает она.

— Завтра во сколько?

— В одиннадцать.

— Приду.

. . .

Второго ноября я провожу вечер за хронологией. До шестого ноября остаётся четыре дня. Я читаю каждый пункт вслух и отмечаю, где память расходится с документами. Ольга присылает короткое сообщение: «Никаких публикаций. Сегодня только режим».

Перед удалением приложения я открываю сохранённые комментарии и копирую один в личные заметки.

«Редкий человек, который не побоялся признать свою роль и встать на сторону учителя».

Под ним пишу дату и источник. Смотрю на сохранённую строку. Она не нужна для показаний. Я оставляю её.

В 22:40 удаляю приложение «Городского среза». Телефон предлагает сохранить данные. Я выбираю удаление, потом проверяю, исчезла ли иконка. На экране остаётся пустое место между двумя другими значками.

В 23:03 Игорь присылает сообщение через другую социальную сеть:

«Понимаю, что ты отказался от комментариев. Но люди спрашивают главное: ты не боишься, что после признания тебе самому грозит тюрьма? Можно ответить одной фразой, без публикации твоего имени».

Я ставлю телефон на стол. Иду умываться. Возвращаюсь и беру его снова.

В поле ответа печатаю: «Есть вещи страшнее наказания — остаться человеком, который…»

Фраза получается длинной. Я представляю её в заголовке без имени. Потом представляю, как Ольга читает её в перепосте. Стираю всё до последнего слова.

Начинаю заново: «Я принял риск, потому что правда важнее…»

Тоже стираю.

В заметках остаётся сохранённый комплимент. В календаре — шестое ноября. В папке — фактическая хронология без вступления и финала. Я выключаю телефон и кладу его экраном вниз.

До показаний у меня больше нет заготовленной речи.

Глава 6. Показания

6 ноября 2025, зал суда

В девять утра коридор уже полон людей, но тихого ожидания не получается. У окна спорят из-за повестки. Женщина ищет в сумке паспорт и выкладывает на подоконник расчёски, лекарства, два абонемента в бассейн. Сотрудник у двери повторяет, чтобы телефоны убрали.

Ольга Валерьевна приходит с двумя папками и сразу ведёт меня к свободному торцу скамьи.

— Ещё раз. Вы отвечаете только на заданный вопрос. Не знаете — говорите, что не знаете. Не помните — не восстанавливаете память по красоте.

— Хорошо.

— Вы вправе не свидетельствовать против себя. Это право не исчезло оттого, что вы уже написали хронологию и пришли сюда.

— Я помню.

— Если конкретный ответ может быть использован против вас, вы вправе на него не отвечать. Скажите прямо, что пользуетесь этим правом. Не пытайтесь сначала ответить наполовину. Отдельный юрист объяснил вам возможные последствия?

— Да.

Она смотрит на меня внимательнее, чем на бумаги.

— И вы всё равно готовы отвечать о тринадцатом июня?

— Да. По документам.

— Не читайте заранее составленную исповедь. Не расширяйте ответы. Не обвиняйте себя сверх того, что можете подтвердить. Это тоже искажение.

На её планшете лежит моя хронология. Верхние строки я знаю наизусть, но не произношу их. В прошлый раз Ольга зачеркнула слово «предательство» и оставила «внёс формулировку». Сейчас это кажется мне почти милосердием, хотя точность не обязана быть милосердной.

Лидия Бруновна появляется из лифта. Она идёт медленно не потому, что слаба, а потому, что останавливается перед каждой дверью и сверяет номер. На ней тёмный пиджак, воротник застёгнут криво. Волосы острижены короче, чем летом. Она здоровается с Ольгой и кивает сотруднику, который просит её паспорт.

Я встаю.

Она смотрит на мой пиджак, потом на папку в моей руке.

— Здравствуй, Артём.

— Здравствуйте, Лидия Бруновна.

— Не надо подходить. Я сяду с Ольгой.

Её раздражение обычное, не торжественное. Она поправляет воротник и не попадает пальцем в петлю. Я хочу помочь и остаюсь на месте. Она справляется сама.

До вызова в зал она больше не смотрит в мою сторону. Рядом с ней я впервые не пытаюсь найти прежнюю редакторшу, которая когда-то исправляла мои страницы красной ручкой. Передо мной женщина, уставшая ждать. Ей неудобно на жёсткой скамье, она дважды меняет положение ног и спрашивает Ольгу, можно ли взять внутрь воду.

В десять нас вызывают.

В зале свет падает сверху и делает лица одинаково бледными. Стул свидетеля стоит так, что я вижу судью, Ольгу и Лидию. За соседним столом сидит прокурор. Захар Уголев присутствует как представитель потерпевшей компании; ноутбук перед ним закрыт. Он здоровается со мной взглядом, без улыбки.

Судья устанавливает мои данные, спрашивает об отношениях с Лидией Бруновной, разъясняет право не свидетельствовать против себя и предупреждает об ответственности за отказ

от дачи показаний и за заведомо ложные показания. Я подписываю там, где указывают. Ручка на секунду перестаёт писать, и я провожу ею по полю черновика. Это маленькая задержка почему-то возвращает мне дыхание.

. . .

Первые вопросы простые. Где работал. В какой должности. Когда штатный договор прекратился. Почему остался в офисе до двадцать восьмого июня.

— Двенадцатого апреля меня сократили. После этого я работал по краткосрочному гражданско-правовому договору. Доступ к проекту сохранился.

— Вы считали себя уволенным? — спрашивает судья.

— Из штата — да. Из работы — нет.

Ольга чуть поворачивает страницу. Это её единственный знак, и я не ищу в нём одобрения.

Потом на экран выводят объяснение от тринадцатого июня. Я вижу свои фразы раньше, чем мне задают вопрос. Они аккуратные. Даже теперь в них нет запятой, которую хотелось бы исправить вместо смысла.

— Вы составляли этот документ?

— Да.

— Сами?

— Основной текст мне дали для проверки. Я прочитал, подписал и внёс уточнение собственноручно.

— Какое?

Ольга называет номер листа. Я прошу показать мне распечатку, чтобы не цитировать по памяти. Мне передают копию. Я кладу её на столик перед собой и держу руки по краям, не закрывая строки.

Приписка состоит из двух фраз: все решения о сокрытии источника принимались Лидией лично, а я действовал по её прямому указанию и не имел полномочий ставить происхождение данных под сомнение. Основной текст мне дали. Эти две фразы я добавил сам, представив её роль единоличной, а свою — послушной.

— Почему вы это написали?

— Мне сказали, что основной текст соответствует материалам проверки. Уточнение я составил уже сам.

— Вы видели эти материалы?

— Не в том объёме, который позволял бы сделать такой вывод.

— Лидия Бруновна запрещала вам проверять происхождение данных?

— Нет. Я сам отвечал партнёру и сам решил не проверять права. Прямого указания от неё не было.

— Но вы написали, что действовали по её указанию.

— Да.

В зале слышен вентилятор компьютера. Я жду следующего вопроса, чтобы спрятаться за его узкой формой, но вопроса пока нет.

— Это было ложью? — спрашивает судья.

— Да. Я приписал ей единоличные решения, а себе — отсутствие выбора, которого не было.

— По вашим словам, вам сказали, что так нужно. Почему вы согласились?

Здесь начинается место, которое в моих черновиках занимало шесть страниц. Там были страх, унижение, Гнесин, мать, работа и структура моего падения. Всё это когда-то казалось причинами. Сейчас я вижу, как легко причины выстроятся вокруг меня мягкой стеной.

— Я боялся потерять оставшуюся работу. Мне обещали рассмотреть восстановление. Ещё я хотел показать, что понимаю руководство и полезен ему.

— Кто обещал восстановление?

Я называю должность и уточняю, что разговор был устным. Не приписываю Фаринатову слов, которые слышал от другого человека.

— А литературная схема, о которой вы упоминали в письме юристу, имела отношение к решению? — спрашивает Ольга.

Захар поднимает голову. Лидия смотрит на свои руки.

— Имела, — говорю я. — Я объяснял себе подпись как часть истории, в которой позже смогу всё исправить. Это не внешнее обстоятельство. Так я оправдывал свой выбор.

— Вы просите учесть это как смягчающее обстоятельство?

— Нет. Я отвечаю на вопрос о мотиве. Подпись и добавление сделал я.

Ольга не кивает. Она переходит к хронологии доступа. Мы сверяем даты, названия файлов, время выгрузки. В одном месте я ошибся на два дня, когда готовил первый вариант. Сейчас исправление видно в таблице.

— Откуда исправленная дата?

— Из журнала сервера и письма администратору. В моей памяти ночь слилась со следующим рабочим днём.

— То есть ваша память ненадёжна? — спрашивает Захар, когда ему дают слово.

— В этом месте первоначальная запись была неверной. Документ надёжнее моего воспоминания.

— Вы мало спали в июне?

— Да.

— Сколько?

— По-разному. Точных данных у меня нет.

— Принимали лекарства?

Ольга возражает против общего вопроса. Мне разрешают не описывать лечение, не относящееся к конкретному событию. Захар сужает вопрос.

— В ночь перед тринадцатым июня вы спали?

— Несколько часов. Точно не помню.

— Тогда почему суд должен верить вашему рассказу о давлении?

— Не обязан верить только рассказу. Переписка подтверждает, что до подписания мне прислали текст и указали время. Журнал доступа подтверждает моё присутствие. Встречу о восстановлении подтверждает только мой рассказ.

Он достаёт другую распечатку. Это моё старое письмо коллеге, где я называю объяснение «единственно возможным выходом» и утверждаю, что Лидия сама завела проект в тупик.

— Сегодня вы говорите противоположное.

— Сегодня я говорю, что тогда не имел оснований для такого вывода.

— Возможно, сейчас вы хотите исправить репутацию после публикаций.

Я чувствую удовольствие от того, что вопрос наконец злой. Можно ответить красиво. Можно сделать так, чтобы даже сомнение работало на мой новый образ.

— Да, я хочу исправить то, что сделал. И публикации мне нравились. Это не меняет происхождения подписи и записей доступа.

Ольга смотрит на меня, но ничего не говорит.

— Вы считаете себя единственным человеком, способным восстановить картину? — спрашивает Захар.

— Нет. Соня Карелина передала юристу сохранённые копии с разрешения Лидии Бруновны. Марта Львовна дала служебную хронологию. Есть документы, которых у меня никогда не было. Мои показания их дополняют.

Я передаю свою распечатанную таблицу. В ней отмечены не только даты, но и пробелы: где нет письма, где доступ мог быть у другого сотрудника, где я слышал только пересказ.

Ольга просит объяснить, как я её составил. Я показываю первую версию, потом исправленную. В первой было написано «вечером вызвали и заставили подписать». Во второй появились отдельные события: присланный текст, разговор, моя правка, отправка.

— Почему вы разделили эти действия? — спрашивает она.

— Потому что между ними было время. Я мог отказаться после чтения. Мог не вносить уточнение. Мог попросить показать распоряжение. Слово «заставили» объединяло всё так, будто решения у меня не оставалось.

— Давление было?

— Да. Мне напомнили о временном договоре и сказали, что дальнейшее сотрудничество зависит от завершения проверки. После этого разговора я сам внёс уточнение и подписал документ.

Захар просит показать ему исправленную страницу. Он долго смотрит на графу о собственноручной правке.

— Вы понимаете, что сейчас не просто помогаете Лидии Бруновне? Вы подтверждаете своё участие в создании документа, на основании которого делался вывод о присвоении.

— Понимаю.

— Вам объяснили, что эти слова могут быть использованы вне сегодняшнего заседания?

— Да. Ольга Валерьевна и отдельный юрист объяснили. Исходные файлы сохранены. Пусть их проверяют вместе с моими словами.

Ольга заявляет ходатайство о приобщении копий и журнала исправлений. Я передаю секретарю опись носителя.

— Не опасаетесь, что желание покаяться увеличивает вашу вину в собственных глазах?

Я смотрю на распечатку. Это вопрос, к которому я готовился меньше всего, хотя он ближе к правде, чем обвинение в заблуждении.

— Опасаюсь. Поэтому говорю только о конкретной правке и подписи. Не беру на себя всё, что произошло с проектом. Остальное пусть устанавливают по документам.

Судья уточняет, было ли у меня время ознакомиться с материалами до сегодняшнего дня. Я отвечаю, что получил копии через Ольгу, а спорные места отметил заранее. Один пункт в хронологии остаётся без подтверждения: я помню разговор в переговорной, но не могу восстановить, кто ещё находился за стеклянной стеной.

— В вашем письме вы называли двух сотрудников, — говорит Захар.

— Сейчас я не могу подтвердить, что они слышали разговор. Они были в опенспейсе. Мне тогда казалось, что они видели моё лицо и всё поняли.

— То есть вы приписали им знание?

— Да.

Лидия меняет положение на стуле. Я не смотрю на неё, пока не заканчиваю ответ.

Мне задают вопросы почти час. Дважды я отвечаю «не знаю». Один раз прошу повторить дату. После каждой паузы допрос продолжается.

Когда вопросы заканчиваются, судья спрашивает, хочу ли я что-нибудь добавить.

У меня подготовлена фраза о человеке, который не имеет права покупать прощение. Я слышу её целиком и понимаю, что она снова ставит меня в центр.

— Нет, — говорю я. — По фактам всё сказано.

. . .

В коридоре становится светлее, хотя окна те же. Я сажусь на скамью и только теперь замечаю, что ладони влажные. На документе остались два слабых следа от пальцев. Я разглаживаю лист, потом перестаю: бумаге не нужна моя помощь.

Ольга выходит с Лидией. Они говорят о следующем действии, запросе и копиях. Лидия спрашивает, сколько ещё ждать.

— Сегодня решения по всему делу не будет, — отвечает Ольга. — Показания надо оценивать вместе с остальными материалами. Отдельная проверка ваших записей тоже возможна.

Лидия морщится.

— А ему?

— Я уже сказала Артёму Ильичу: его признание может повлечь отдельную проверку. Это не формальность, которую мы можем пообещать быстро закрыть.

— Я понимаю, — говорю я.

Лидия смотрит на меня впервые после утреннего приветствия.

— Ты правильно ответил про тринадцатое июня. Не про меня вообще, а про документ. Что не получал от меня прямого указания и не мог утверждать, будто действовал по нему.

— Я должен был сказать это тогда.

Она достаёт из сумки пачку бумажных платков и не находит в ней ни одного, хотя пачка полная. Ольга показывает ей застёжку. Лидия открывает её и наконец достаёт платок.

— Не называй это поступком ради меня, — говорит она. — Ты отвечал перед фактами. И перед собой, если хочешь. Но я не просила тебя устраивать отдельное самосудилище.

— Хорошо.

— И я сейчас не прощаю. Не потому, что требую ещё чего-то. Просто не готова говорить об этом.

— Понимаю.

Она прижимает платок к пальцам, хотя глаза сухие.

— За точный ответ спасибо. Особенно за то, что не стал утверждать про файл, которого не видел.

На этом её благодарность заканчивается. Она не встаёт ближе, не трогает мой рукав. Я рад этому ограничению и одновременно чувствую глупую боль. Значит, внутри ещё живёт расчёт: правильный ответ, потом объятие, потом разрешение вернуться.

Ольга уводит Лидию к лифту, но перед этим останавливается возле меня.

— Вы сегодня говорили о том, что видели и сделали. Это помогает.

— А дальше?

— Дальше я сообщу о следующем процессуальном действии. Не звоните журналистам. Не обсуждайте детали в сети. И подумайте о собственном представителе, если начнётся проверка.

— Хорошо.

— Ваш риск никуда не делся, Артём Ильич. Он настоящий.

Она уходит. Я остаюсь с копией хронологии и не знаю, куда деть руки. Кладу документ в папку. Застёжка закрывается с обычным щелчком.

. . .

На улице холодно, мокрый снег лежит только у бордюра. Я спускаюсь по ступеням и слышу своё имя. Знакомый журналист стоит у ограждения с диктофоном. Рядом оператора нет, и от этого разговор выглядит почти частным.

— Артём, можно два вопроса? Вы сегодня фактически признали себя виновным, чтобы спасти наставницу. Многие уже называют это героическим поступком. Что вы чувствуете?

Ольга, успевшая проводить Лидию до машины, подходит с другой стороны.

— Комментарии по материалам дела согласовываются со мной, — говорит она.

Журналист не убирает диктофон.

— Только личное впечатление. Вы не боитесь, что теперь начнут проверять вас?

Я смотрю на красный огонёк записи. Внутри появляется ответ о том, что страх не освобождает. Хороший ответ. Его можно поставить в заголовок.

— Я ответил на вопросы о документах. Дело Лидии Бруновны сегодня не закончилось. Остальное комментировать не буду.

— А слово «герой» вам подходит?

— Нет.

Я говорю это слишком резко, будто отвергаю награду, которую уже успел получить. Ольга касается моего локтя и ведёт в сторону остановки. Журналист не идёт следом.

— «Нет» тоже можно напечатать как скромность героя, — говорит она.

— Что мне было отвечать?

— То же самое. Только не ищите теперь идеальную форму отказа.

Мы останавливаемся у перехода. Она повторяет, что признание о собственноручном усилении обвинения может быть использовано отдельно. Я слушаю и не прошу её сказать, что всё обойдётся. Она всё равно не скажет.

— Когда станет ясно? — спрашиваю я.

— Не сегодня. Возможно, скоро сообщат о дополнительных действиях по делу Лидии Бруновны. По вам сроков я не назову.

Мы расходимся. Дома я снимаю пиджак и вешаю его на спинку стула. На кухне Оксана Марковна оставила суп под крышкой и записку: «Погрей, не ешь холодный». Я выполняю только первую часть, потому что сначала открываю календарь.

На шестом ноября ставлю точку и пишу: «Начало отсчёта». В соседней заметке появляется число тридцать четыре. Я не знаю, что должно произойти на тридцать четвёртый день. Может быть, ничего. Всё равно записываю срок и сразу добавляю дату следующего звонка Ольге, чтобы рядом с моим числом стояло обычное дело.

Телефон вибрирует. Сообщение от Сони короткое, без знаков препинания в конце:

«Как прошло»

Я читаю его несколько раз. Хочется ответить, что теперь мне грозит проверка, что я не испугался, что впервые не спрятался за чужие слова. Вместо этого пишу:

«Ответил по документам. Дело не закончено, возможна отдельная проверка моих действий. Ольга объяснит следующий шаг»

Отправляю и иду греть суп. Пока миска поворачивается в микроволновке, ответа нет. Я не держу телефон в руке. На столе остаётся календарь с открытой датой, а рядом записка Оксаны Марковны. Я складываю её вдвое и подкладываю под горячую миску, чтобы не обжечь стол.

Венера

Глава 7. Пустое место



13 ноября 2025, кафе у архива

Вечером шестого ноября Соня спрашивает, как прошло. Я отвечаю о документах и возможной проверке. Она пишет только: «Поняла. Береги сон». Через час я предлагаю встретиться через неделю в кафе у архива. Не в мастерской, не у Данилы дома, не на Венце. Место, где можно выпить чай и уйти без объяснений.

Она отвечает уже перед сном: «Не обещаю».

Я смотрю на эти два слова, пока экран не гаснет. Потом открываю переписку снова. «Не обещаю» означает, что она не сказала «нет». Значит, нужно выбрать время. Я предлагаю следующий четверг, шесть вечера, и добавляю: «Если сможешь». Соня не отвечает. Я считаю молчание почти согласием.

За неделю я успеваю трижды представить наш разговор. В первой версии она спрашивает о суде, и я рассказываю без самооправдания. Во второй она молчит, а я замечаю, что ей тяжело, и помогаю ей говорить. В третьей я вообще не упоминаю себя, и это производит на неё особенно сильное впечатление. Во всех версиях она приходит.

В четверг я возвращаюсь из архива раньше обычного. Юлия выдаёт мне коробку с бумагами Гнесина, которые Данила разрешил разбирать дома. Не весь фонд, только рабочие распечатки и копии. Оригиналы остаются в мастерской под учётом.

— Список внутри, — говорит она. — Если найдёшь личные листы, отложи. Не сканируй.

— Помню.

— Я не для красоты повторяю.

Прежде чем отдать коробку, она просит помочь с рабочей описью. На соседнем столе лежат фотографии документов из маленького районного собрания. Соня уехала туда утром оценивать состояние бумаг. Юлия показывает мне её письмо только в той части, где перечислены операции для меня.

— Она вернётся не сегодня? — спрашиваю я.

Юлия продолжает разбирать фотографии.

— По работе её вопросы закрыты. Остальное у неё спросишь сам.

Я слышу собственный вопрос и понимаю, что он прозвучал как проверка вечера, хотя мог быть простым интересом к поездке.

— Нет, мне для файлов, — говорю я и сразу чувствую, что соврал.

Юлия не разоблачает меня. Она передаёт список: сверить номера, отметить нечитаемые места, не улучшать изображения.

Полчаса я работаю с копиями. На одной фотографии текст перекрыт тенью от корешка. Я отмечаю это, а не дорисовываю буквы по смыслу. На другой видна рука Сони в защитной перчатке возле металлического зажима. Она держит не лист, а край пластикового короба. У неё появляется собственное движение в кадре, куда меня не позвали и где моя помощь не требуется.

Юлия проверяет мои отметки.

— Вот здесь не нечитаемо, а просто плохой контраст. Попроси исходник, если понадобится. Не делай вывод по превью.

— Исправлю.

— И не отправляй Соне рабочие вопросы в личку, пока она на выезде. В общий файл. Она попросила всех.

— Хорошо.

Я вношу комментарий в общий файл. Сообщение останется ей независимо от встречи. Это не повод напомнить о себе.

Когда работа закончена, Юлия пододвигает мне коробку Гнесина.

— Теперь можно подписывать.

Я подписываю выдачу и несу коробку к автобусу. Дома ставлю её у стола, затем открываю шкаф. Вещей немного, и это не упрощает выбор. Серый свитер выглядит так, будто я не готовился. Синяя рубашка слишком похожа на одежду для суда. Чёрная водолазка напоминает мне о прежних вечерах с Алисой, и я откладываю её не из такта, а из суеверия.

Оксана Марковна проходит по коридору с полотенцем через плечо.

— У тебя собеседование?

— Нет. Встреча.

— Тогда зачем ты на рубашку смотришь как на врага?

— Она мнётся.

— Отгладь, если мешает. Только не опоздай из-за рубашки.

Она уходит в ванную. Я надеваю серый свитер и чищу ботинки. Потом снимаю свитер, потому что воротник стоит неровно, и надеваю его снова. На столе лежит блокнот. Я выписываю три темы: показания, рукопись Гнесина, работа в архиве. Напротив первой пишу «коротко». Напротив второй — «не только о себе». Третью зачёркиваю, потому что о работе я знаю меньше, чем о своих переживаниях.

Я готовлю рассказ о человеке, который наконец поступил правильно. Даже запрет говорить о себе становится частью этого рассказа. Соня должна увидеть разницу. Мысль о том, как изменилась её жизнь за последние недели, приходит позже и не получает места в блокноте.

. . .

Данила появляется на кухне в пять. Он ещё в рабочей куртке, держит стакан воды и смотрит на мои ботинки у порога.

— Ты куда собрался?

— В кафе у архива.

— С кем?

Я запинаюсь не потому, что ответ секретный, а потому, что хочу, чтобы он сам понял.

— Соня возможно придёт.

Он ставит стакан.

— Возможно?

— Она написала «не обещаю».

— Значит, не обещала.

— Я знаю.

Данила поворачивается ко мне слышащим ухом. На улице шумит мусоровоз, и он переспрашивает время. Я говорю громче.

— Шесть. Если она освободится.

— А ты уже идёшь?

— В полшестого.

— Дорога пятнадцать минут.

— Хочу занять стол.

Он пожимает плечами и открывает холодильник. Достаёт контейнер с котлетами, ставит в микроволновку. Я смотрю на его руки и решаю, что сейчас удобно спросить.

— Она тебе не говорила, что у неё сегодня?

Микроволновка начинает гудеть. Данила не отвечает, пока не достаёт контейнер.

— Не говорила.

— Может, она на смене? Ты вчера с ней связывался по коробкам.

— Связывался.

— И?

Он садится за стол.

— Не буду выяснять.

— Я не прошу выяснять. Просто если ты знаешь, что она занята, я не буду ждать.

— Ты уже решил ждать.

Меня раздражает его спокойствие. Он говорит так, будто я прошу пароль, хотя речь о расписании.

— Данила, я не собираюсь её преследовать. Я спросил, где она работает сегодня. Мы все друг друга знаем.

— Да. И поэтому не надо через меня проверять.

— Это обычный вопрос.

— Тогда задай его ей.

— Она не отвечает.

Он откладывает вилку.

— Вот. Она не отвечает. Это не значит, что я должен ответить вместо неё.

Я хочу сказать, что после всего, что сделал для общего дела, имею право хотя бы на простое сведение. Фраза возникает почти целиком, и от неё становится противно.

— Ладно, — говорю я.

— Не надо «ладно» таким голосом. Мы с тобой дружим, но Соня от этого не становится общей. Захочет — сама расскажет, где была. И она правда не обещала прийти.

— Ты знаешь что-то?

— Я знаю, что не буду сообщать её расписание.

Он снова берёт вилку. Между нами остаётся не ссора, а неудобство. Я надеваю куртку.

— Удачи, — говорит он.

— С чем?

— С чаем.

На лестнице я злюсь на него сильнее, чем он заслуживает. К троллейбусу злость проходит. Остаётся время: семнадцать минут пятого. Я всё равно еду.

. . .

Кафе находится в двух минутах от архивного входа, но не видит его дверей. Это я проверяю сразу. Из окна видна аптека, остановка и край жёлтого фасада. Соня могла бы пройти мимо, если бы вышла с работы другим маршрутом. Я отворачиваюсь от окна.

В семнадцать сорок пять занимаю столик на двоих. Сумку кладу на пол возле своей ноги. Второй стул остаётся свободным. На нём узкая царапина, похожая на скобу. Официантка приносит меню и спрашивает, жду ли я кого-то.

— Да. Пока чай.

— Какой?

Я выбираю первый в списке, потому что название всё равно не запомню. Заказываю ещё пирожное, чтобы стол не выглядел местом долгого ожидания. Через минуту переставляю его ближе к пустому месту. Есть не начинаю.

В семнадцать пятьдесят восемь входят две женщины в архивных бейджах. Я поднимаю голову. Это не Соня. Они обсуждают отопление дома и спорят, можно ли включать обогреватель под столом. Одна говорит, что муж купил новый и теперь все должны мёрзнуть по очереди, потому что старый ещё работает. Они смеются.

В восемнадцать ноль пять пишу Соне: «Я в кафе, если получится». Удаляю сообщение до отправки. Она знает время. Я уже предложил. Ещё одно напоминание превратит её возможность в обязанность.

Чай приносят в стеклянном чайнике. Официантка ставит вторую чашку и забирает её почти сразу.

— Простите, привыкла на двоих.

— Ничего.

В восемнадцать двадцать я начинаю есть пирожное. Оно слишком сладкое, крем прилипает к вилке. Я представляю, как Соня входит, а я сижу с пустой тарелкой и выгляжу человеком, который не ждал. Потом прячу тарелку за чайник и понимаю, что продолжаю сочинять сцену.

Телефон лежит экраном вверх. Сообщений нет. В восемнадцать тридцать открываю новости дела, закрываю. Ольга прислала короткое письмо: дополнительных указаний пока нет, ждать официального уведомления. Я отвечаю «принял». Это занимает пять секунд.

В кафе меняются посетители. Мужчина с ребёнком вытирает какао с рукава. Студентка печатает реферат и каждые несколько минут считает слова. Пожилой человек читает газету у окна, не поднимая головы на дверной звонок. Никто не приходит вместо Сони и не приносит мне объяснение её отсутствия.

В восемнадцать тридцать пять в зале почти не остаётся мест. Женщина с двумя пакетами останавливается возле моего стола.

— Здесь свободно?

Я смотрю на пустой стул. Если скажу «занято», она уйдёт, а Соня, если придёт, сядет напротив. Если отдам стул, она может решить, что я её не жду. Эта мысль смешная и всё равно управляет мной несколько секунд.

— Да, — говорю я. — Садитесь.

Женщина ставит пакеты, благодарит и начинает собирать рассыпавшиеся чеки. Я помогаю поднять один с пола. Она звонит сестре и выясняет, купила ли та лекарство отцу. Напротив меня шуршат бумагой и обсуждают дозировку. Я перестаю поднимать голову при каждом дверном звонке.

Через десять минут женщина спрашивает:

— Вы кого-то ждёте? Я могу пересесть, если что.

— Не знаю, придёт ли человек. Вам не надо пересаживаться.

Она кивает, не утешая меня. Когда появляется её сестра, женщина переносит пакеты за свободный столик. Стул остаётся на месте. Я поправляю сумку возле своей ноги. Второе место снова пустует.

В восемнадцать пятьдесят я проверяю мастерскую на карте. Не адрес, а рабочий маршрут: от кафе до входа четыре минуты пешком. Я могу пройти, посмотреть на окна. Если свет горит, значит, она действительно занята. Если не горит, значит, ушла. Обе версии ничего мне не дадут, но тело уже готово встать.

Я остаюсь сидеть.

В девятнадцать ноль пять пишу длинное сообщение.

«Я понимаю, что ты не обещала, но могла бы предупредить. Я целую неделю думал, что мы поговорим. После суда мне было важно увидеть тебя, а теперь я сижу и не понимаю, зачем ты вообще спрашивала, как прошло. Если тебе неинтересно, лучше сказать прямо, чем оставлять меня в таком положении».

Перечитываю. В каждой строке она что-то должна: предупредить, говорить, объяснить, освободить меня от положения, которое я сам выбрал. Даже фраза «ты не обещала» служит не признанием факта, а способом обвинить её без формального права.

Удаляю всё.

Пишу: «Всё ли у тебя в порядке?» Отправляю в девятнадцать двенадцать. Сразу убираю телефон в карман куртки, висящей на спинке моего стула. Потом достаю и кладу экраном вниз на стол.

В девятнадцать тридцать прошу счёт. Официантка смотрит на свободный стул.

— Второй чай не нужен?

— Нет, спасибо.

— Может, собрать пирожное с собой?

— Не надо. Я его съел.

Она убирает тарелку. Я расплачиваюсь и выхожу. Мороз слабый, от чая лицо горячее. Дорога к архиву уходит вправо. Я поворачиваю налево, к остановке.

Дома Данилы уже нет, на двери его комнаты записка о ночной смене. Оксана Марковна смотрит сериал без звука, потому что засыпает перед экраном. Я разуваюсь и иду в свою комнату. Коробка с бумагами Гнесина стоит там, где я её оставил. Она требует другой работы, но я пока наливаю воду в чайник.

. . .

В двадцать один ноль семь приходит ответ Сони.

«Всё в порядке. Была занята. Я не обещала прийти».

Ни извинения, ни нового предложения. Я сижу на краю стула и чувствую сначала облегчение: она жива, у неё всё в порядке. Потом обиду: могла написать раньше. Потом усталость от того, что оба чувства снова делают её сообщение частью моего состояния.

Пишу: «Понял. Хорошего вечера».

Она не отвечает, и я не добавляю вопрос о работе. Не спрашиваю, чем была занята. Не прошу назначить другой день.

Открываю заметку с тремя темами для встречи. «Показания», «рукопись», «работа» теперь выглядят списком того, что я собирался предъявить ей. Я не уничтожаю лист в порыве самобичевания. Складываю его и вписываю в архивную папку с личными черновиками. Завтра он мне не понадобится. Если Соня когда-нибудь захочет поговорить, разговор всё равно будет другим.

Даниле пишу только: «Я дома. Соня ответила, всё в порядке». Он присылает короткое «ок» и больше не участвует. Я не рассказываю ему, как долго ждал, и не прошу передать ей, что обиды нет.

На кухне в раковине стоят две чашки: моя утренняя и вторая, из которой Данила пил перед уходом. Я открываю воду и мою обе. Одну вытираю сразу, другую оставляю на сушилке. На полотенце остаётся мокрое пятно.

Возвращаюсь к коробке. Внутри лежат распечатки с правками Гнесина, список литературы, ксерокопии карточек. Под ними папка без надписи. Я выкладываю содержимое по порядку, сверяя с описью Юлии.

Первые десять листов относятся к одному разделу. Гнесин исправляет термины, вычёркивает собственные длинные вводные фразы, на полях оставляет вопросы. Я переношу номера в таблицу. На четвёртом листе кто-то другой написал синим карандашом «не уверен». Почерк не похож на мой. Я раньше считал все рабочие бумаги учителя нашими общими, но теперь отмечаю: «вторая рука, лицо не установлено».

В следующем комплекте лежит квитанция об оплате ксерокопий. Гнесин приложил её к странице о том, что не стоит печатать непроверенные библиографические сведения. Я откладываю квитанцию в отдельный файл и вношу в опись рядом с тем листом, где она хранилась.

Работа занимает больше получаса. Телефон дважды загорается на краю стола. Первый раз это реклама, второй — сообщение в домовом чате. Я не поворачиваю его к себе экраном постоянно и не придумываю, что Соня обязана увидеть моё молчание и оценить его.

На одиннадцатом листе Гнесин обращается к будущему читателю: «Если найдёте ошибку, не пишите рядом “как обычно”. Напишите, в чём она». Я останавливаюсь. Учитель мог оставить эту фразу любому студенту, но сейчас она попадает в меня точно. За вечер я несколько раз мысленно упрекнул Соню её «обычным» молчанием. Хорошо, что в отправленном сообщении остался только вопрос. Никакого «обычно» после её отказа я не имею права утверждать.

Я ставлю рядом с листом чистую карточку и продолжаю опись.

Один конверт не входит в перечисленные рабочие комплекты.

Он жёлтый от времени, без марки и адреса. На лицевой стороне рукой Гнесина написано: «Софье». Не «Софье Андреевне», не «Карелиной». Имя написано уверенно, последняя буква почти касается сгиба.

Я переворачиваю конверт. Он заклеен. На обратной стороне нет даты. В описи есть строка «Конверт С.К., без вскрытия». Значит, Юлия видела его и оставила мне не как личную тайну, а как предмет для передачи.

Первое желание — позвонить Соне. Второе — спросить Данилу, знал ли он, что дядя был с ней знаком. Третье, самое неудобное, — вскрыть хотя бы край и определить, рабочие ли там бумаги.

Я кладу конверт отдельно от рукописи. Гнесин был с ней почти не знаком — так я записал когда-то в своих заметках. Теперь передо мной его почерк и её имя. Они могли встречаться без меня. Он мог запросить у неё работу, спросить о бумаге, передать книгу. Я не знаю.

Составляю сообщение: «Нашёл конверт с твоим именем. Не вскрывал. Могу передать через архив или Данилу, как тебе удобно».

Не добавляю, что ждал её вечером. Не спрашиваю, почему учитель молчал. Отправляю и откладываю телефон.

В описи нахожу свободную строку и вписываю: «Конверт “Софье”, целый, передать адресату». Подписываю дату. Затем закрываю папку Гнесина, чтобы следующий лист не оказался прочитан только потому, что мне одиноко.

Глава 8. Одно сообщение в месяц

27 ноября 2025, комната и архивная мастерская

В восемь утра телефон лежит на полу возле кровати. Я беру его, чтобы отключить будильник, и вижу сообщение от Сони, отправленное вчера поздно вечером.

«По конверту Гнесина. Это, скорее всего, моя старая консервационная заметка. Он запрашивал её через архив о переплёте и реставрации листов. Не личное письмо. Можешь передать сегодня? Данила уже согласовал мой рабочий день и передачу конверта».

Я читаю сообщение дважды. В первый раз ищу приглашение. Во второй — содержание. Учитель обращался к ней как к специалисту. Он не оставлял ей тайного поручения, не выбирал её моей преемницей. Он запросил работу, а она сделала заметку. Связь, которую я успел построить вокруг конверта, уменьшается до обычной служебной истории.

Отвечаю: «Принесу к десяти. Конверт не вскрывал. Остальные рабочие бумаги тоже не трогал без описи».

Она пишет время и напоминает, что вход со стороны служебного коридора. Всё.

Я завтракаю на кухне. Оксана Марковна собирает контейнеры со сменной едой и спрашивает, не видел ли я синюю крышку. Нахожу её под полотенцем.

— Вот, — говорю я.

— Спасибо. Ты сегодня рано такой послушный.

— Соня написала по работе.

— А ты думал, она пишет по погоде?

Она закрывает контейнер и не ждёт ответа. Мне хочется объяснить, почему конверт показался важным, но это потребовало бы рассказать и о кафе. Я молча мою кружку.

Перед выходом беру конверт из отдельной папки. Проверяю, что края не разошлись, надпись не пострадала. Вкладываю его между двумя жёсткими картонками, как показывала Юлия, и кладу в плоский пакет. Никаких других бумаг Гнесина не беру.

В автобусе начинаю составлять ответ на вопрос, которого Соня ещё не задала. Если она спросит, как я после суда, скажу коротко. Если спросит о рукописи, объясню всё: смерть учителя, мать, подпись, ожидание, любовь к ней. Мысль о любви появляется в списке между матерью и бумагой так естественно, будто тоже относится к состоянию фонда.

Я достаю блокнот и пишу возможный текст.

«После смерти Ильи Марковича я всё время думаю, что не успел услышать главное. Мать тоже оставила вещи, в которых я ищу разговор. Показания ничего внутри меня не закрыли. Рядом с тобой я впервые хочу не толковать, а слушать, хотя пока плохо умею. Я люблю тебя и не требую ответа».

Последняя фраза выглядит честной, пока я не представляю, что Соне придётся прочитать её на рабочем месте. «Не требую ответа» не отменяет того, что ответ теперь нужен, чтобы закончить разговор. Я зачёркиваю абзац, потом вырываю лист и складываю в карман. Выбрасывать в автобусе негде.

. . .

В мастерской Соня стоит у сушильного стеллажа. На ней рабочий халат, волосы собраны выше обычного. Юлия у соседнего стола проверяет номера на папках. Она кивает мне и остаётся в комнате. Никто не устраивает частной встречи из передачи конверта.

— Доброе утро, — говорит Соня. — Положи сюда.

Я ставлю пакет на свободный участок стола. Она моет руки, вытирает их и только потом достаёт конверт. Картонки откладывает отдельно.

— Да, его почерк, — говорит она.

— Вы были знакомы?

— Мы пару раз говорили через архив. Он приносил фотографии своих листов. Потом пришёл сам, но без бумаг, поэтому я только дала письменные рекомендации. Больше ничего героического.

Она смотрит на меня поверх конверта.

— Ты для описи спрашиваешь?

— Нет. Хочу понять, почему он мне не говорил.

— Этого я не знаю. Могу рассказать только про свою работу.

Она говорит без злости. Юлия переворачивает лист и делает вид, что не слушает, хотя в маленькой комнате это невозможно.

Соня вскрывает клапан с края, где старый клей уже отстал. Внутри лежат несколько листов: её заметка, копия заявки и отдельная тонкая страница с пометами Гнесина. Она просматривает первую страницу, узнаёт свои сокращения.

— Всё верно. Здесь про переплетение, кислотность и то, почему нельзя было сразу разбирать скреплённые блоки. Я ему советовала не снимать старую нить до фотофиксации.

— Он послушал?

— Частично. На фотографиях потом было видно, что два блока он всё-таки разнял.

— Похоже на него.

— Похоже на человека, который торопился.

Я жду, смягчит ли она ответ, но Соня уже проверяет листы и складывает их в новую папку с датой поступления.

— Спасибо, что не вскрывал, — говорит она.

— Там могли быть рабочие документы.

— Всё равно спасибо.

Она берёт чистый бланк передачи. Я расписываюсь, Данила уже оставил подпись наследника на отдельном согласовании. Соня не торопится убирать папку.

— Как сама рукопись? — спрашивает она. — Ты начал полную опись?

Я чувствую, как лицо меняется. Вот вопрос. Она спрашивает о рукописи, значит, помнит, что я с ней делаю. Значит, разговор может продолжиться после работы. Я успеваю подумать всё это прежде, чем ответить.

Открываю рабочие заметки на телефоне и смотрю в список папок, чтобы не начать рассказывать лишнее.

— У меня дома восемь папок с копиями, — говорю я. — Оригинальные тетради в отдельном ящике у Данилы. Есть смешанные листы, часть датирована, часть нет. Бумага в основном офисная, но две тетради на тонкой бумаге, у них ломкие сгибы. Есть листы со следами влаги. Я не разглаживал.

Соня кивает.

— Сколько примерно листов?

— По рабочим папкам четыреста двенадцать копий, но этот итог надо проверить. В трёх оригинальных тетрадях предварительно сто девяносто две пронумерованные страницы. Есть вкладки, их я ещё не описывал.

— Не считай вкладки, пока не сфотографируешь положение.

— Хорошо.

— Хранение дома какое?

— В комнате, на столе. Батарея рядом.

Она поднимает бровь.

— На столе рядом с батареей?

— Метра полтора.

— Лучше переставить в закрытый шкаф, не у наружной стены. Без полиэтилена плотно не закрывай. И никакого увлажнения самому.

Я записываю. Она показывает, как сделать простые папки из безкислотного картона, но не предлагает забрать всё в архив.

— Это частные материалы. Здесь им не место без отдельного решения. Я могу один день помочь с консервационной оценкой по договорённости с Данилой. Он наследник, пусть распоряжается.

— Он согласен.

— Согласен на оценку, не на передачу мне всего фонда.

— Понимаю.

Она возвращается к своему столу. Разговор можно было бы закончить, но я спрашиваю о её работе. Не «как ты», чтобы получить общий ответ, а о том, что слышал от Юлии.

— У тебя постоянную ставку опять задержали?

Соня кладёт папку в вертикальный лоток.

— Не ставку, решение по ставке. Сейчас я на проектном договоре. Обещали внести позицию в следующий бюджет, потом сказали ждать декабрьской комиссии.

— А деньги за этот месяц?

— Основную часть заплатили. За дополнительные дни задерживают. Не катастрофа, но я не хочу больше работать как будто постоянный сотрудник без записи.

— Что будешь делать?

— Юлия и я составили таблицу фактических часов. Отдадим руководителю. Если решение снова перенесут, я сокращу дополнительные дни. У меня ещё частный заказ на две недели, старые ноты. Ничего романтичного, переплёт расходится.

Она говорит охотнее, чем обо мне. Я слушаю, не предлагая свою историю увольнения как ключ к её положению.

— Тебе нужно, чтобы я посмотрел формулировки в таблице? — спрашиваю я.

— Можешь. Только не превращай её в иск.

— Постараюсь ограничиться часами.

— Это было бы полезно.

Она достаёт распечатку, и мы десять минут проверяем названия операций. Я исправляю две повторные строки, она убирает моё слишком канцелярское определение. Юлия добавляет дату, когда руководитель устно просил работать в выходной.

В полдень Соня закрывает таблицу.

— Всё, мне надо к прессу. Спасибо за короткий ответ про рукопись. По делу его гораздо удобнее читать.

Я улыбаюсь.

— У меня был длинный вариант.

— Не сомневаюсь.

Она не спрашивает, что в нём было. Подписывает последний лист и первой заканчивает разговор:

— Папку с конвертом я оставляю у себя. Отдельную страницу пока не отдаю тебе: надо показать Даниле, там его имя есть. Хорошего дня.

Я выхожу со списком условий хранения, а не с обещанием встречи.

. . .

Дома переставляю копии рукописи со стола в шкаф. Для этого приходится вынести две стопки собственных книг. Одна из них раскрывается на старой закладке, и я машинально читаю абзац. Потом закрываю книгу: у меня есть работа, не связанная с поиском совпадений.

На освободившемся месте раскладываю только первую группу копий. Завожу таблицу с графами: номер папки, количество листов, вкладки, повреждения, личные сведения. До сих пор я называл это «разобрать рукопись», но не знал даже точного числа единиц.

Во второй папке обнаруживаются страницы, слипшиеся у верхнего края. Не настолько, чтобы образовать плотный блок, но простое разделение может снять слой бумаги. Я пробую приподнять угол двумя пальцами и сразу останавливаюсь. Соня сказала: никакого увлажнения самому. Даже осторожное разделение не входит в список моих умений.

Фотографирую положение страниц, не меняя его. В таблице пишу: «локальное слипание, не разделял». На отдельном листе отмечаю, что чтение пропущено. Соблазн подставить лист под лампу и прочитать через просвет велик, но свет не отделит бумагу. Я закрываю папку.

В следующей находится конверт с мелкими обрезками. На нём Гнесин написал «сохранённые поля». Внутри кусочки листов с его пометами. Я высыпаю их не на стол, а на чистую подложку. Один фрагмент содержит половину фамилии, другой — часть даты. Сложить их можно по-разному. Я не собираю пазл, а фотографирую каждый с номером.

За этой работой приходит сообщение от Сони в общем файле: «По слипшимся листам, если найдёшь, только зафиксируй. Не пытайся разделить». Она отвечает не на мой вопрос — я его ещё не отправлял, — а дополняет общую памятку для рабочего дня. Совпадение своевременное и объяснимое: такие повреждения обычны.

Я добавляю фотографии в папку с ограниченным доступом. В рабочий комментарий пишу: «Найдено именно такое повреждение, две папки, жду оценки». Не адресую сообщение ей лично и не спрашиваю, как прошёл день после нашей встречи.

К пяти вечера таблица занимает шесть страниц. Оказывается, четыреста двенадцать копий — число неточное: в одной папке были двусторонние листы, которые я посчитал дважды. Исправляю итог, оставляя прежнюю цифру в журнале ошибок. Соня спрашивала о состоянии рукописи, а я уже был готов рассказывать ей о смысле, не проверив даже количество страниц.

Данила приходит после смены и осматривает новые папки.

— Соня сказала, ты всё передал, — говорит он.

— Да. Она нашла отдельную страницу с твоим именем. Хочет показать тебе.

— Завтра зайду. А дневники ты не трогал?

— Нет.

Он садится на корточки возле шкафа.

— Я не потому спрашиваю, что ты обязательно влезешь. Там личное про маму тоже может быть.

— Поэтому и не трогаю.

Я показываю ему фотографии слипшихся страниц.

— Здесь нужна оценка. Я не разделял.

— Правильно. А сколько это будет стоить?

— Не знаю. Соня предложила один день оценки по договорённости, не бесплатный ремонт всего фонда.

Данила проводит ладонью по лицу.

— У меня после прав и машины свободных денег немного. Но не надо решать, что я не потяну. Сначала пусть напишет, что срочно, а что может подождать.

— Могу оплатить часть своей работы по описи.

— Это не то же самое, что оплатить реставрацию. Ты свою работу делаешь, она свою. Потом посчитаем.

Он говорит не обиженно, а серьёзно. Я закрываю предложение денег, которое могло бы снова сделать меня главным участником.

— Хорошо. Попрошу смету по этапам.

— Через меня. И дневники в неё пока не включай.

— Да.

Он подписывает согласование только научных материалов. Под его подписью я добавляю номер таблицы и отмечаю повреждённые папки.

— Хорошо, — говорит он.

Он уходит готовить ужин. Я остаюсь с телефоном и открываю переписку с Соней. Вопрос о рукописи занимает одну строку. Ответ о папках — несколько. Её последнее «хорошего дня» ничего не обещает.

Прокручиваю выше. Шестое ноября: «Как прошло». Восьмое октября: «Дошёл до дома?» В сентябре сообщение перед похоронами и одно о рабочей папке. Летом были длинные разговоры в мастерской, когда мы виделись каждый день. После моего назначения ей роли остались редкие сообщения. Примерно раз в месяц, если не считать рабочих вопросов.

Сначала я ищу даты. Потом замечаю, что в октябре она писала после смерти Гнесина, в ноябре — после суда, сейчас — о конверте. Нет тайного календаря. Есть события, о которых она считает возможным спросить, и граница, которую она соблюдает в остальное время.

Я создаю заметку «сообщения» и пишу даты. Строка получается похожей на новую таблицу. Закрываю её и удаляю. Если я начну предсказывать следующее сообщение, снова назначу ей участие в моей системе.

На кухне Данила зовёт меня есть. Суп слишком горячий, мы сидим с ложками и ждём. Он рассказывает, что сдал очередной этап в автошколе и спорил с преподавателем о маршруте. Я спрашиваю, когда экзамен. Он называет дату и просит не приезжать смотреть.

— Я и не собирался.

— Ты уже спросил адрес.

— Из интереса.

— Вот после экзамена расскажу.

Мы смеёмся. На несколько минут я забываю проверить телефон.

Вечером пишу Соне одну рабочую фразу: «Переставил бумаги от батареи, сфотографировал вкладки до подсчёта. Таблицу часов вернул тебе в общий файл». Она отвечает: «Увидела, спасибо». Разговор закончен.

. . .

В двадцать два сорок приходит письмо от Ольги. Тема без восклицательного знака: «Следующее действие». Она сообщает дату третьего декабря и время заседания, на котором будут рассматривать ходатайство о дополнительной экспертизе документов. Моё присутствие пока не требуется. Отдельно просит не связываться с сотрудниками компании и сохранить все уведомления.

Я вношу дату в календарь. Она стоит между двумя архивными сменами. Рядом остаётся незакрытый вопрос о возможной проверке моих действий.

Отвечаю Ольге, что дату понял. Она присылает список материалов, которые нужно иметь доступными: исходную хронологию, исправления, копии уведомлений. Я собираю их в отдельную папку на компьютере и распечатываю оглавление. Два документа сохранены под почти одинаковыми именами. Переименовываю по датам, не меняя содержимое, и отмечаю это в журнале.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.